

Юрий Додолев

МОИ ПОГОНЫ



Юрий Додолев

МОИ ПОГОНЫ

ПОВЕСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1974

Р2
Д60

Д $\frac{70302-196}{M-105(03)74}$ 122-123-74

© Издательство «Советская Россия», 1974 г.

*Мы узнавали мир вместе
с человеческим подвигом и
страданиями.*

Юрий Бондарев

1

Я получил повестку «прибыть с вещами» 25 ноября 1943 года в самый обыкновенный, ничем не примечательный день, не зимний и не осенний: зимним его нельзя было назвать из-за слякоти — снега и грязи, превращенной сотнями ног в кашицу, напоминавшую цветом краску для полов, а на осенний он не походил потому, что уже выпал снег, рыхлый и влажный; он покрывал тонким слоем крыши, скамейки, газоны, напоминал накрахмаленную скатерть там, где не было пешеходов и автомашин.

Повестку принесли утром, когда я пришел, усталый, с ночной смены. Матери не было. На столе, под салфеткой, лежали сваренные в мундире, чуть теплые картофелины, ломоть черного хлеба, сдобренный сахарным песком, и записка: «Ушла на дежурство. Завтра вернусь около восьми вечера. Смотри, не опоздай на работу». Будильника у нас не было, и мать, уходя на ночные дежурства, каждый раз просила соседей разбудить меня. Я и сам обращался к ним с такой же просьбой, если надо было вставать утром. А днем я спал мало и всегда просыпался сам, задолго до заводского гудка.

Мать беспокоилась не зря. За опоздания и прогулы строго наказывали. И все понимали: эта строгость — необходимая, вынужденная мера.

Я читал и перечитывал повестку. Усталость как рукой сняло. Наскоро перекусив, я помчался в военкомат к капитану Шубину — с ним я познакомился полгода назад, когда проходил медкомиссию. В тот день призывники — парнишки 1926 года рождения — слонялись по коридорам, сидели на корточках, привалившись к поблекшей от частого прикосновения стене, дымили самокрутками, передавая друг другу обмусоленные «сороковки». Разговоры велись на одну тему: когда заберут и куда. Мои сверстники хотели попасть в авиацию, в артиллерию, в танковые войска. Двое из нас собирались стать гвардейскими минометчиками — так называли тех, кто стрелял из «катюш». Все говорили: «Лишь бы не в пехоту». Служба в пехоте представлялась всем нам самой тяжелой и самой опасной. Все мы надеялись остаться в живых, никто не говорил вслух, что кого-нибудь из нас могут убить или тяжело ранить. Но все, наверное, думали об этом: наши войска наступали почти на всех фронтах, и мы уже знали, что это такое.

Я хотел стать моряком. Очень хотел! Морем я бредил с детства, прочитал десятки книг, в которых воспевалось море и смелые, отважные люди — моряки. Но я понимал — на флот не возьмут: туда отбирали самых крепких, самых выносливых, а у меня с детства пошаливали нервы. Сам я этого не замечал, но так утверждала мать. «А вдруг?» — появлялась надежда. Я бы полжизни отдал, чтобы попасть на флот. В мечтах я видел себя в бескозырке с ленточками, с синим воротником на спине.

Из двери с облупившейся на ней краской выглянул капитан в суконой гимнастерке, с протезом вместо руки. Был он среднего роста, широк в плечах, в густых темнорусых волосах белела седина. Капитан обвел взглядом призывников и поманил меня пальцем.

— П-поможешь повестки в-выписывать, — сказал он, чуть заикаясь, когда я подошел. — С п-почерком у тебя как?

Я ответил, что почерк у меня неважный: так говорили учителя.

Шубин покопался на столе, дал мне четвертушку листа, вырванного из тетради:

— Н-напиши ч-что-нибудь.

Я обмакнул перо в пластмассовую чернильницу с узким горлышком, старательно вывел: «Смерть немецким окупантам!»

— Н-нормальный почерк, — сказал Шубин. — Только оккупанты с двумя «к» пишется. Ты сколько классов кончил?

— Шесть.

Капитан покосился на меня:

— Выходит, оставался?

— Один раз, — признался я.

По устным предметам я всегда получал «отлы» и «хоры», потому что легко запоминал прочитанное, а решать примеры, доказывать теоремы не умел. Математика требовала усидчивости, сосредоточенности, — того, чего не хватало мне. Именно поэтому на экзаменах по алгебре я получил «плохо» и остался в шестом классе на второй год.

Я выписывал повестки, стараясь не делать грамматических ошибок, вспоминал в затруднительных случаях правила из учебника русского языка, а капитан, перебирая разложенные на столе бумаги и подписывая некоторые из них, рассказывал про фронт. Он явно симпатизировал мне. На Шубина, наверное, произвело впечатление то немое обожание, с которым я посматривал на него, бывшего фронтовика.

Был он кадровым военным, командовал стрелковой ротой. В сорок первом, под Витебском, его контузило и ранило одновременно.

— Как? — спросил я.

— П-под бомбежку п-попал.

Несмотря на это, капитан казался мне героем. Он видел фашистов, стрелял в них.

— Т-троих уложил, — похвастал Шубин. Его веко дернулось, почудилось — капитан по-свойски подмигивает мне.

После госпиталя Шубина комиссовали, но он не согласился с этим, пошел в наркомат обороны, попросил оставить его в армии.

— П-полгода ходил, но д-добился, — сообщил Шубин. — Т-теперь вместо пенсии з-зарплату получаю и п-паек. П-правда, не фронтовой, но мне х-хватает.

— А на фронте как кормят? — поинтересовался я.

— Х-хорошо кормят. Д-девятсот граммов хлеба, плюс п-приварок, не считая сахара и к-курева.

— Сколько хлеба? — Мне показалось, что я ослышался.

— Д-девятсот граммов, — повторил Шубин.

Был я долговяз и тощ. Посмотришь в зеркало — жердь. Свой паек — шестьсот граммов хлеба — съедал в один

присест. Часа полтора ощущал сытость, а потом снова начинало урчать в животе. Поэтому сообщение Шубина ошеломило меня. От волнения я даже кляксу поставил. Положил на нее промокашку и сказал:

— Заберите меня поскорее в армию, товарищ капитан!

— П-при первой в-возможности, — пообещал Шубин.

И добавил: — Если м-медкомиссию пройдешь.

Медкомиссию я проходил последним. Один из врачей — очкастый, костистый, весь, казалось, состоящий из острых углов, — велел мне положить ногу на ногу. Я знал: нога подпрыгнет, когда по ней стукнут блестящим молотком. Решил обмануть врача, напружинил ногу, но она, злодейка, все же дернулась.

— М-да, — промычал врач.

«Не возьмут», — испугался я и сказал бодро:

— Это от переутомления, доктор. Весь день повестки выписывал.

— Может быть, может быть, — закивал врач.

Стараясь не выдать себя, я вежливо спросил:

— Скажите, пожалуйста, годен ли я?

Невропатолог пошептался с другими врачами:

— Можете не волноваться!

С тех пор я стал часто наведываться в военкомат, спрашивал Шубина — скоро ли? Мой рост приносил мне немало огорчений, я выглядел старше своих лет и, ощущая на себе косые взгляды, каждый раз испытывал стыд: казалось, люди удивляются, почему я, такой взрослый, высокий, не в армии. Меня так и подмывало подойти к людям и объяснить им, что мне лишь недавно исполнилось семнадцать, что мой год еще не призывают. Плакаты «Родина-мать зовет!», расклеенные на улицах, — воспринимались мной, как обращение лично ко мне. Я глядел на пожилую женщину с поднятой рукой и думал: «Я бы с радостью, но что поделаешь, если не призывают?»

Я мог бы не бегать в военкомат — в повестке было сказано все. Но я хотел увидеть Шубина, хотел еще раз поговорить с ним.

Я бежал по грязи и мокрому снегу, чувствовал — промокают ноги. Я мог бы добраться до военкомата на трамвае с пересадкой на троллейбус, но транспорт надо было ждать, а мне не терпелось. «Скоро, скоро, скоро, — пело внутри. — Скоро я буду получать девятьсот граммов хлеба — в полтора раза больше, чем сейчас».

Какая прекрасная штука — хлеб, особенно если он све-

жий. Даже в очереди стоять за ним — удовольствие. Стоишь и предвкушаешь его, хлеб, доставая время от времени карточку с еще не оторванным талоном, на котором обозначено число.

Хлебная карточка была для меня чем-то вроде отрывного календаря. По ней, по хлебной карточке, я вел счет дням. Нет одного талона — прошел день. Надо ждать сутки, чтобы снова получить хлеб. Утром проснешься, и первое, о чем подумаешь, — хлеб. Оденешься, умоешься и — в булочную. А если с ночной возвращаешься, то вначале — за хлебом.

Год назад в Москве продавали хлеб из американской муки. Он был белый-белый и безвкусный. Его хватали только в первые дни. Наш хлеб лучше. Наш — с запахом!

В булочной всегда тихо. Все смотрят на руки продавщицы. Хлеб она взвешивает, как аптекарь лекарство. Все говорят, что в нашей булочной продавщица честная. Нам повезло.

Всем хочется, чтобы был довесок — маленький-маленький. Его можно положить в рот сразу, в булочной. Все выходят и жуют.

Как хочется хлеба — хоть кусочек. Набегают слюна. Вспоминаю: дома только пшено и хлопковое масло. На обед сварю суп, заправлю его этим маслом. А вечером, перед уходом на работу, буду пить чай с сахарином — сахара, знаю, уже нет: мать мне сегодня остатки на хлеб высыпала.

— П-прибежал? — сказал Шубин, когда я ворвался к нему. — З-знал, что прибежишь. П-поздравляю тебя, Саблин! С-сбылась твоя мечта.

— Спасибо! — воскликнул я.

— Н-не просто спасибо, а спасибо, т-товарищ капитан, — поправил меня Шубин. — Ты, С-саблин, военным человеком становишься, п-привыкай к армейской т-терминологии.

Я неумело щелкнул каблуками:

— Спасибо, товарищ капитан!

— С-совсем другое дело, — одобрил Шубин. — Мы т-тебя в з-запасной радиополк отправляем. Р-радистом будешь.

— Радистом?! — Я почувствовал — вытягивается лицо.

— Р-радистом, — подтвердил Шубин. И добавил: —

С-специальность — на б-большой! В м-мирной жизни тоже пригодится.

Я хотел в артиллерию или в танковые войска: о флоте после медкомиссии я даже не мечтал. Лишь изредка перед глазами возникал босвой корабль, и я с биноклем на палубе. Сказал Шубину, не скрывая огорчения, что собирался стать артиллеристом или танкистом.

— В артиллерию в-вакансий не было, — возразил капитан. — А в т-танкисты тебе нельзя: длинный больно, — Шубин улыбнулся, — голова т-торчать из люка будет. — Глядя на меня, добавил: — А в-вообще-то в армии рассуждать не п-положено. Г-где прикажут — там и б-будешь служить. Ясно?

— Ясно, — пробормотал я.

Я работал учеником строгальщика на 2-м ГПЗ. Своим товарищам по цеху о повестке не сказал. Почему-то решил: начальник нашего цеха Иван Сидорович Сухов, узнав о повестке, наложит на меня броню, и тогда... Нет, этого я допустить не мог!

Из всех людей, с которыми я общался в то время, Сухов вызывал во мне самую большую неприязнь. Эта неприязнь возникла сразу, как только я очутился с направлением в руке в его кабинете — тесном закутке, отгороженном от цеха фанерными щитами, почерневшими от мазута.

Хилый старичок с нависшими бровями, сидевший за огромным столом, показался мне злым. Прочитав направление, в котором говорилось, что я — строгальщик третьего разряда, Сухов провел рукой по небритой щеке и сказал:

— Пойдешь покуда учеником на ремонтно-восстановительный участок.

— Зачем учеником? — возмутился я. — Здесь же написано — строгальщик третьего разряда.

— Написать все можно, — возразил Сухов. — Ты документ покажи.

Документа, подтверждавшего «третий разряд», у меня не было: свой трудовой путь я начал далеко от Москвы, в Тюмени, когда находился в эвакуации.

— Вот так-то! — сказал Сухов, подняв указательный палец и обнажив розовые десны. — Поработай спервоначала учеником. А разряд мы тебе присвоим, если, конечно, заслужишь этого.

В первый же день я запорол чугунную заготовку. Узнав об этом, Сухов подошел к станку и произнес ехидно:

— Третий разряд, говоришь? Оно и видно!

С той поры он часто останавливался неподалеку от моего станка, подолгу смотрел, как я работаю. Я ощущал на себе его взгляд, нервничал, ошибался. Сухов подходил, брал в руки испорченную деталь, разглядывал ее, что-то бормоча себе под нос.

Во время обеденного перерыва я жаловался па начальника цеха, говорил рабочим, что он — вредный.

— Зря на него взъелся, — возражали ребята. — Иван Сидорович — мужик ничего. На нашем заводе еще до революции вкалывал.

Я слушал ребят вполслуха.

2

Во дворе военкомата на Большой Якиманке семь призывников, одетых в старые телогрейки, поношенные брюки и башмаки с заплатами, ожидали отправки.

— В армию? — спросил я.

— Туда, — отозвался поджарый парнишка с пробивающимися усиками и стрельнул нахальным глазом в Зою Петрину, которая провожала меня.

Зоя жила в нашем доме, на первом этаже. Она была моей ровесницей, самой вежливой, самой воспитанной девушкой не только в нашем доме — во всем дворе. Мне нравился ее ровный, спокойный характер, доброта, доверчивость, внутренняя чистоплотность — Зоя брезгливо вздрагивала, когда раздавалось грубое слово, болезненно морщилась, когда при ней употребляли двусмысленные выражения или говорили сальности; мне нравились ее светлые, гладко зачесанные волосы, ее губы с чуть опущенными уголками, ее глаза с то возникающей, то исчезающей в них мечтательностью; я любил Зою, как может любить полумальчик-полуноша, зачитывавшийся романами Тургенева, видевший в Лизе Калитиной идеал.

В детстве меня и Зою дразнили женихом и невестой. Я краснел, доказывал, что Зоя для меня ноль без палочки, хотя думал по-другому.

Зоя вела себя иначе. Она гордо вскидывала головку и спрашивала:

— А дальше что?

Мальчишки и девчонки шмыгали носами, мямлили что-то и оставляли нас в покое.

Так было до войны. А сейчас Зоя стояла рядом молчаливая, притихшая. И если бы кто-нибудь назвал нас женихом и невестой, то, наверное, не ошибся бы.

Мать тоже хотела проводить меня, но вчера вечером ее срочно вызвали в больницу — она работала врачом. С тех пор как началась война и много медработников ушло на фронт, мать вызывали в больницу часто. Вчера за ней прибежала говорливая санитарка в телогрейке, накинутой на белый халат. Мать вздохнула и стала молча одеваться. Я смотрел на седину в ее волосах, на тонкие, вздрагивающие пальцы со следами йода. Я понимал: еще немного, и мать заплачет, и сказал ей, стараясь говорить бодро:

— Не беспокойся за меня. Ничего плохого со мной не случится. Я давно стремился в армию, но — не брали.

— Знаю, — тихо произнесла мать.

Санитарка наострила уши, скользнула взглядом по вещмешку — он лежал, наполовину собранный, на диване:

— Никак сынка забирают?

— Да, — сухо ответила мать.

— Боже мой, — запричитала санитарка, — такого-то молоденького! И когда только это кончится!

Я не сказал матери всего, что решил сказать ей при расставании, — постеснялся санитарки. Проводил ее до больницы, побещал часто писать, шепнул ей на ухо: «Мамочка!», поцеловал в щеку и вернулся домой.

Капитан Шубин вышел во двор в наброшенной на плечи шинели, поздоровался со мной за руку. «Видела?» — спросил я Зою взглядом и посмотрел на ребят.

Зоя улыбнулась, ребята стали шептаться.

— Ж-жми, Саблин, на с-сборный пункт, на Соколиную гору, — сказал Шубин. — Остальные п-позже подъедут. Ни пуха тебе ни пера!

— К черту, к черту, — быстро проговорила Зоя.

Капитан перевел на нее взгляд, и его глаза потеплели. Я понял, что Зоя понравилась Шубину...

— Мировой мужик? — спросил я, когда мы направились к трамвайной остановке на Октябрьскую площадь, которую в нашем доме все называли по старинке — Калужской. — Он для меня что хочешь сделает.

— Не хвастай, — сказала Зоя.

Я хотел возразить, но передумал: в наших спорах Зоя всегда одерживала верх. «Если меня убьют, — вдруг решил я, — то Зоя пожалеет, что возражала мне».

Мысль о том, что меня могут убить, вызвала жалость к самому себе. Я подумал, что, может быть, последний раз вижу Москву — город, в котором родилась вся моя родня, даже прабабушки и прадедушки. Окинув взглядом двухэтажные домики, опоясывавшие Октябрьскую площадь, в которую вливались, словно реки в озера, улицы — Донская, Большая Калужская, Крымский вал, Большая Якиманка, Житная, Коровий вал и Шаболовка, родная Шаболовка, замощенная булыжниками, с гроыхающими трамваями, с домом конусообразной формы, выходящим фасадом на площадь, — я начал вспоминать.

В доме конусообразной формы, отделявшем Шаболовку от Донской, находилась булочная, которую на нашем дворе называли людоедовской. Такое название эта булочная получила еще до революции, когда она принадлежала булочнику Казакову, прозванному в простонародье Людоедом за дурное обращение с пекарями, что, впрочем, не мешало ему торговать прекрасными сайками и калачами, которые, по словам наших соседей, ничем не отличались от филипповских. Соседи утверждали, что Филиппов украл у Казакова секрет приготовления знаменитых калачей, нанес ему большой убыток.

«Так и надо этому Людоеду!» — злорадствовал про себя я, потому что не мог простить Казакову дурного отношения к пекарям.

Наши соседи и после революции продолжали покупать хлеб только в людоедовской булочной, каждый день ходили на Октябрьскую площадь, несмотря на то что напротив нашего двора был магазин, в котором, наряду с другими продуктами, продавался и хлеб.

До войны я тоже покупал хлеб только в этой булочной: он поступал на прилавок прямо из пекарни, расположенной позади дома.

Назад возвращался по правой стороне Шаболовки, медленно проходил мимо окон пекарни, затянутых металлическими сетками. За окнами сновали, перебраниваясь, молодые пекаря, осыпанные мукой. Я смотрел на них и вспоминал «Мои университеты» Горького, булочника Семенова.

До войны в пекарне работали только мужчины, потом

появились молчаливые женщины, лица которых разглядеть не удавалось: кроме металлических сеток, на окна пекарни поставили решетки с узкими — такими, что руку не просунешь — отверстиями.

Я позавидовал женщинам-пекарям, лопающим, по моим убеждениям, только ситный, и перевел глаза на магазин «Рыба», в котором до войны продавались судаки, леши и многое другое, что совсем не интересовало меня: даже икре и прочим деликатесам я предпочитал самые обыкновенные «подушечки» — слипшиеся в один ком, очень вкусные.

В дверь магазина «Рыба» вползала очередь. Стояли одни женщины, закутанные в шали, в платках, реже в незатейливых шляпках. У некоторых из них шали были черные, глаза грустные. Женщины держали в руках «авоськи» с пустыми банками или небольшими бидончиками, и я понял, что «выбросили» сгущенку — она выдавалась вместо масла: двести граммов сгущенки на стограммовый талон с надписью «жир».

В магазине «Рыба» уже давно не пахло рыбой. Из специализированного магазина он превратился в самый обыкновенный продмаг, и я мог бы при желании отоваривать в нем продуктовую карточку, но я «прикреплялся» к другому магазину, на Шаболовке, потому что всюду «выбрасывали» одно и то же: на жировые талоны чаще всего выдавалось хлопковое масло, реже комбижир, на мясные — селедка или колбаса, совсем не похожая на довоенную. Все мечтали достать настоящее мясо. Из него можно было приготовить и первое, и второе, но мясо продавали редко, и тех, кому удавалось достать говядину или баранину, называли счастливыми.

Лучше других отоваривались детские карточки. На них выдавали сырки, сливочное масло, поэтому на черном рынке детские карточки стоили дорого.

Я не ошибся, решив, что выдают сгущенку. Из магазина вышла женщина в белом фартуке с пятнами. Сложив руки рупором, крикнула:

— Сгущенка кончается! Кто хочет, может получать яичный порошок.

Очередь зароптала, но не разоплась: все, наверное, надеялись получить сгущенку, которая ни в какое сравнение не шла с яичным порошком, приготовленным — так утверждали все — из черепаших яиц.

Мы огибали в этот момент Октябрьскую площадь.

Я увидел купол кинотеатра «Авангард» и загрустил еще больше: с этим кинотеатром были связаны самые приятные воспоминания — мы, я и Зоя, ходили в «Авангард» часто, у нас были там любимые места.

Мысленно попрощавшись с «Авангардом», я еще раз окинул глазами Октябрьскую площадь. Эта площадь вместе с прилегающими к ней улицами была для меня Москвой: на Шаболовке я родился, на Донской учился, на Большой Якиманке призывался, а Большая Калужская, застроенная в предвоенные годы красивыми домами, казалась мне красивей улицы Горького, и я гордился, что Большая Калужская соседствует с Шаболовкой, на которой доживают свой век дома-развалюхи, и, конечно же, предпочел бы жить на широкой и прекрасной улице, несмотря на то что очень любил Шаболовку.

Я шел, погруженный в свои думы, и не сразу понял, о чем спрашивает Зоя.

— Может, до Серпуховки пешком? — повторила она.

— Да, да, — забормотал я.

— Но дальше проводить не смогу.

— Почему? — Я огорчился.

— На работу опаздываю.

Зоя работала лаборанткой, вечером — три раза в неделю — училась. Мне это нравилось. Втайне я завидовал Зое, но сам в школу рабочей молодежи так и не поступил — решил: школа не волк, в лес не убежит. Зоя убеждала меня, стыдила, а я вспоминал алгебру, геометрию и физику.

Мы вышли на Коровий вал. Я увидел разрушенный бомбежкой дом, обнесенный аккуратным — дощечка к дощечке — забором, и позавидовал Зое, которая уже была под бомбежкой и испытала то, что мне только предстояло испытать.

Первая воздушная тревога была объявлена в Москве в ночь с 22 на 23 июня 1941 года. Рассветало, когда мать разбудила меня.

— Одевайся побыстрее и — в бомбоубежище, — проговорила она взволнованно.

— Налет? — спросил я.

— Да, да, — нервно ответила мать. — Поторапливайся!

Я быстро оделся. Я не испытывал страха, не сомневался: наши летчики не подпустят фашистские самолеты к Москве.

Захватив самое необходимое, мы вышли во двор, где уже собралось человек тридцать. Зоя с красной повязкой на рукаве бегала по двору, уговаривала всех спуститься в бомбоубежище — в подвал церкви, которая вдавалась задней частью в наш двор.

— Прошу, товарищи, прошу! — говорила Зойка, показывая рукой на дверь подвала.

Ее никто не слушал. Все смотрели, задрав головы, на небо. Зоя подбежала ко мне:

— В бомбоубежище!

— Подумаешь, начальница, — фыркнул я.

— Конечно. — Зоя указала на красную повязку.

К различного рода повязкам я относился с уважением: их носили дежурные по классу, звеньевые, староста — все, кто в моем понимании был «властью». Поэтому я покорно спустился в подвал, но пробыл там недолго: в подвале было скучно, неинтересно. Выбравшись тайком наверх, я стал бегать вместе с ребятами за сараями, стараясь не попадаться Зое на глаза.

Через полчаса объявили отбой. Эта воздушная тревога оказалась учебной. Я был разочарован.

Настоящие воздушные тревоги и бомбежки начались спустя месяц, когда я был в эвакуации. Вернувшись домой, узнал: во время бомбежек Зоя отличилась. Когда на нашем дворе, у сараев, упала «зажигалка», Зоя не растерялась: схватила лопату, засыпала бомбу песком. Через несколько дней она сбросила зажигалку с крыши. Соседи рассказывали об этом с гордостью, словно они, а не Зоя обезвреживали бомбы.

На Коровьем валу, около разрушенного дома, огороженного забором, рос тополь, расщепленный бомбой. Он чуть было не погиб, но выжил, выбросил весной почки, из которых вылупилась нежная, клейкая листва. Я подумал, глядя на этот тополь, что Москва тоже выстояла, и теперь, когда позади Сталинград и битва на Курской дуге, настроение совсем другое, хотя впереди, может, и будут тяжелые испытания.

Электрические часы, установленные на Добрынинской площади, показывали четверть десятого. Однако доверять этим часам было нельзя: они то работали, то останавливались. Зоя спросила у проходившего мимо военного, который час. Военный сказал, что сейчас половина десятого.

— Ну, мне пора! — спохватилась Зоя и неумело поцеловала меня в щеку.

Я смутился: «Зачем же при всех?»

— Пиши! — Зоя помахала рукой и перешла на противоположную сторону улицы, где находилась трамвайная остановка.

Когда трамвай скрылся за поворотом, мне стало грустно. Захотелось сбегать к матери на работу, сказать ей все то, что я не осмелился сказать при санитарке. Но я побоялся опоздать на сборный пункт...

Сборный пункт размещался в здании школы, из которой были вынесены парты. В классе, куда привели меня, на доске белела сделанная мелом надпись: «Прощай, Валюша, не поминай лихом!» Я подумал, что парень, сделавший эту надпись, наверное, про штрафулся перед девчонкой, и пожалел, что не сказал Зое о том, как я ее люблю. Я давно собирался сделать это, но мне почему-то казалось — Зоя рассмеется в ответ.

Ходить по коридорам новобранцам не разрешалось. От нечего делать я распаковал «сидор». Быстро умаял хлеб, колбасу, наелся вроде бы и уснул прямо на полу, положив под голову отощавший вещмешок...

Проснулся в плохом настроении — хотелось есть. Покопался в «сидоре» и только надумал пожалеть сам себя, как распахнулась дверь, и добрая фея в виде усатого розовощекого старшины принесла сухой паек: хлеб, сахар, сало, селедку.

Настроение сразу поднялось. Казенные харчи оказались вкусными. Я решил, что вечером тоже дадут, съел все до крошки, выпил три кружки воды из стоявшего возле двери бачка и снова лег, но в это время раздалось: «Становись!»

3

Мы — пятьдесят шесть новобранцев-москвичей — уезжаем в Горький. Многих из нас провожают женщины — матери, сестры, подруги. Я жалею, что нет Зои. Перед глазами встает, словно это произошло только вчера, памятная мне встреча.

Я встретил Зою на второй день после возвращения из

эвакуации. Передо мной стояла прежняя и в то же время совсем другая девушка. С Зоей произошло что-то: не то она выросла, не то пополнила, но это уже была не та девочка, которая загоняла меня в бомбоубежище.

— Здравствуй,— сказал я, чувствуя, как меня охватывает новое, еще не испытанное чувство.

— Здравствуй.— Зоя улыбнулась, поправила на мне воротничок.— Увидела тебя и сразу расхотелось уезжать.

— Ты уезжаешь?

— Завтра. Отец прислал вызов.

Зоины родители разошлись, когда она была маленькой, но сохраняли хорошие отношения. Каждый год Зоя уезжала на два-три месяца к отцу — он жил и работал на Урале.

Десять лет я прожил с Зоей на одном дворе, встречался с ней каждый день. казалось, изучил ее, и вот теперь только понял, как она хороша, как не похожа на других девочек.

— Зойка, Зойка,— пробормотал я.

Она взлохматила мне волосы:

— Пойдем в кино?

— Пойдем,— выдохнул я.

Мы пошли в «Авангард». Не помню, какой показывали фильм: на экран я не смотрел — только на Зою. Мне хотелось, чтобы фильм продолжался вечно, но он кончился до обидного быстро.

— Погуляем? — сказала Зоя, когда мы вышли из кинотеатра.

— С удовольствием!

Стояла теплая июльская ночь. Отчетливо вырисовывались сделанные известью белые полосы, отделявшие тротуар от мостовой, служившие ориентиром для шоферов и водителей троллейбусов. «Цок, цок, цок» — цокали по булыжникам каблучки патрульных. Мы шли по Большой Якиманке. Я шел медленно, стараясь продлить удовольствие.

Посередине улицы протопал взвод солдат с узелками под мышками. «В баню идут»,— догадался я и сказал вслух:

— Скоро и мне так.

— Не хочется? — спросила Зоя. Мне почудилось в ее голосе сочувствие.

— Хочется,— признался я.

Зоя погладила меня по руке.

О чем думала она в ту ночь? Не знаю. Я думал только о ней, ибо понял — влюбился, мечтал изобрести какой-нибудь аппарат, который бы позволил прочесть Зоины мысли. Я чувствовал себя счастливейшим человеком, потому что самая прекрасная девушка на земле шла под руку не с кем-нибудь, а со мной, Георгием Саблиным!

— Поздно уже, — сказала Зоя.

Мы пошли домой. Свернули во двор. Вот он — наш дом-развалюха. Он все приближается, приближается, приближается, и вместе с ним приближается минута расставания — та минута, которой я страшусь: не хочу расставаться с Зоей не хочу, чтобы она уезжала на Урал! В моей душе происходило непонятное, хотелось крикнуть на весь двор: «Зоя, я люблю тебя!» В ту минуту я любил не только Зою — всех, даже дом-развалюху, потому что в этом доме жила «она».

Мы вошли в подъезд, пахнувший мышами, плесенью, гнилым деревом.

— Постоим? — сказал я, боясь услышать «нет».

— Да, — ответила Зоя.

Мы стояли долго. Дом спал.

Я сжимал Зоины пальцы, бессвязно лопотал что-то. Хотелось поцеловать девушку, но я боялся разрушить то хорошее и светлое, что возникло между нами.

— Пора! — проговорила Зоя и юркнула за обитую войлоком дверь — потом, после ее отъезда, я часто здесь останавливался, вспоминая это свидание.

Звякнула цепочка.

— Зоя? — позвал я.

— Спокойной ночи, — послышалось в ответ.

— Зоя, — повторил я.

За дверью скрипнуло что-то.

— Зоя, Зо-ой?

Я долго-долго стоял у двери, надеясь на чудо.

Чуда не произошло. Рано утром, когда я еще спал, Зоя уехала. Писала она часто. Ее письма были немногословны, но в конце каждого стояло «твоя». Это меня окрыляло.

Я посылал ей «простыни». Трудно было с бумагой, но я всеми правдами и неправдами раздобывал ее...

Зоины письма лежат в кармане. Их — десять. Они завернуты в плотную бумагу и перевязаны голубой лентой, которую я выпросил у матери. Вместо этой ленты она хотела дать мне желтую, но я не взял ее, потому что желтый цвет обозначал измену. Об этом я прочитал в какой-то книжке.

В Горький нас сопровождает ефрейтор. Ему за пятьдесят. Он совсем не похож на военнослужащего. Лицо у него доброе, круглое, глаза, как у ребенка; шинель горбом вздувается на спине, ремень расслаблен, кирзовые сапоги, нетронутые гуталином, поседели от мытья. Ефрейтор называет нас сынками. Мы его за глаза — папашей.

Папаша пересчитывает нас, прокалывая воздух указательным пальцем. Пересчитать нас не удастся: мы не стоим на месте, бродим по привокзальной площади. Папаша сдвигает на лоб «ушанку», обнажая стриженный затылок, озадаченно смотрит на нас.

Ефрейтор мне нравится: он домашний, уютный. Я быстро пересчитываю всех и говорю:

— Пятьдесят шесть человек!

— Точно?

— Как в аптеке... — Я стараюсь освоить армейскую терминологию и поэтому после небольшой паузы добавляю — ...товарищ ефрейтор!

— Спасибо, сынок, — говорит папаша и просит меня присмотреть за новобранцами, пока он сходит в продпункт.

— Смотри хорошенько, — советует папаша, — чтобы, упаси бог, никто не утек. А мне невтерпеж: со вчерашнего дня не жрамши, потому как старшого моего — лейтенанта Коркина в госпиталь пришлось ложить — приступ.

Папаша уходит. Я поднимаюсь на верхнюю ступеньку главного подъезда, откуда хорошо просматривается вся площадь, снова пересчитываю новобранцев.

На привокзальной площади лежит снег. Наполненные влагой глыбы свисают с крыш. Подходят, звеня, трамваи, выбрасывая на площадь людей с чемоданами, корзинами, с котомками, перешитыми из мешков.

Между нами шныряют два парня, тоже новобранцы, с одинаковыми челочками, в одинаковых — черных с пуговками — кепках-малокозырьках, металлических зубами, наклками на руках. С одного взгляда определяю — шпана.

Шпаны в военной Москве много. Красивые и безобразные, высокие и низенькие, эти парни похожи один на другого. Может быть, потому, что вся шпана носит одинако-

вые челочки, одинаковые кепки, у всех наколки на руках и металлические коронки.

Эти коронки называются фиксами. Они — шик. Их надевают даже на здоровые зубы.

Я ненавижу шпану. Один тип из этой шатии вытащил из моего кармана хлебные и продуктовые карточки.

Случилось это два года назад. Я возвращался на «букашке» — так назывался маршрут «Б» — с Таганской площади, где в то время находился спецмагазин, в котором отоваривались наши карточки. На Коровьем валу сошел. Сунул руку в карман и обмер — нет карточек. Метнулся в одну сторону, в другую. Трамвай прогромыхал мимо. Я увидел парня в малокозырке, который, кося на меня глазом, ухмылялся, показывая металлический зуб. «Он», — подумал я и помчался за трамваем. Но разве догонишь трамвай? «Букашка» пересекла Октябрьскую площадь, покатила под гору к ЦПКиО имени Горького.

Как мы дожили до конца месяца, лучше не вспоминать...

Я не свожу с парней, шныряющих по площади, настоженного взгляда. Ведут себя эти парни нагло: ощупывают чужие «сидора», совещаются. На мой вещмешок внимания не обращают — такой он тощий.

Один из парней — плотный, с короткой шеей, с виду он добродушный, покладистый. У другого — тонкие губы, опухшее лицо, мешки под злыми, колючими глазами. Называют парни друг друга по фамилиям. Запоминаю на всякий случай: с короткой шеей — Ярчук, опухший — Фомин.

Парней провожают девушки. Одна из них в беличьем манто, в меховой шапочке, кокетливо сдвинутой набок, напоминает мне Катюшу Маслову — перед отъездом я прочитал «Воскресение». Украдкой посматриваю на эту девушку.

— Нравится маруха?

Оглядываюсь — Фомин.

— На Катюшу Маслову похожа, — отвечаю я.

— На кого, на кого? — Брови у Фомина сдвигаются.

Я сбивчиво объясняю, кто такая — Катюша Маслова.

Фомин подзывает девушку, снисходительно говорит ей:

— Слышь-ка, эта верста втюрилась в тебя.

Девушка ласково улыбается, протягивает мне руку:

— Зина.

— Георгий.

— Жора, значит?

— Можно и так,— соглашаюсь я и думаю: «Какая у нее приятная, мягкая ладонь. Будто бархат».

Подруга Зины — густо напудренная, словно вываленная в муке, девица с ярко покрашенным ртом, в распахнутом пальто, из-под которого виднеется тельняшка, неплотнo облегающая ее рыхлое тело,— развязно спрашивает:

— А я тебе нравлюсь?

— Нет.

В Зининых глазах — смешинки.

— Нельзя так говорить женщинам,— учит она. Голос у нее густой, красивый.

— Но ведь это же правда! — возражаю я.

— Тем более нельзя! — Зина смеется. Напудренная девица морщит носик, похожий на кнопку, говорит Ярчуку:

— Врежь ему!

Я напрягаюсь, ожидая удара.

— Не смей! — Зина смотрит на Фомина. Тот советует своему приятелю не связываться...

4

Наш вагон напоминал бочку, набитую селедками. На верхних полках размещались по двое. Моим соседом оказался поджарый парнишка с тонкой, как стебелек, шейей, с большими, словно плоски, глазами, острым подбородком.

— Давай знакомиться,— сказал парнишка.— Николай Петров я. Фамилия, как видишь, самая обыкновенная.

Я назвал себя.

Лежа на полке, мы молчали. Меня терзал голод. Глядя в окно на уплывающий перрон, я думал о превратностях судьбы: «Был хлеб, а теперь нет его». Представил себя убитым. Зоя и мать плакали, называли меня Жориком, совали мне хлеб, сахар и даже пироги.

Я еще не решил, как поступить с ними, пирогами: то ли ожить и сразу съесть их, то ли подождать, но в это время Петров спросил:

— Шамать хочешь?

— Спасибо, сыт,— проворчал я.

Колька хохотнул:

— Брось врать-то. Свой паек ты уже спамал — сам видел. А у меня пищи разной — полон «сидор». Коржики есть и сало.

Я испытал такой приступ голода, что не смог сдержаться.

— Угощай, коли так!

Съев кусок сала, поблагодарил Кольку и отвернулся, показывая, что я-де человек воспитанный, объедать других не привык.

Колька снова хохотнул:

— Не стесняйся — наваливайся. Сколько хочешь шамай. Коржичков отведай — хорошая пища. Вку-усная!

Я надкусил коржик.

— Ну? — Петров даже рот приоткрыл — весь внимание.

Я поднял большой палец, хотя коржики мне не очень понравились.

Николай хмыкнул удовлетворенно.

— Сам пек. Как думаешь, из чего?

Коржики были сделаны из картошки, сдобренной отрубями, в них чувствовался привкус сахара, но чтобы сделать приятное Кольке, я сказал:

— Из муки, наверное, и сахара.

— А вот и нет! — воскликнул Петров и раскрыл мне «секрет» приготовления коржиков.

Мопотонно стучали колеса. Я вспомнил мать, с которой так и не удалось поговорить перед отъездом: мать много работала, дома бывала редко; вчера прибежала, усталая, собрала вещи, поцеловала меня, попросила писать почаще и снова умчалась в свою больницу. Я вспомнил все это и вздохнул.

— Чего? — спросил Петров.

— Так, — ответил я.

Я всегда мечтал и вспоминал молча. А Николай мечтал и вспоминал вслух, поверял себе все, что наболело. Так я узнал, что дома у него мать и три сестренки. Когда отца забрали в армию, Николай стал работать.

— Давно не пишет батя, — пожаловался он. — Мать каждый день плачет.

На работе Петров получал паек плюс дополнительное питание за перевыполнение плана.

— Теперь матери трудно будет, — сказал он. — Сестренки растут — им только подавай шамать.

Шел снег. На платформах люди кутались в шубы, телогрейки, а в нашем вагоне было жарко.

Стемнело. Из соседнего купе донесся храп. Вдруг кто-то вскрикнул. Послышался шепот. Свесившись с полки, Колька посмотрел в соседнее купе.

— Ну? — спросил я.

— По «сидорам» шарят. А если... — Договорить Николай не успел: в наше купе вошли те́ двое — Фомин и Ярчук. Луч карманного фонарика скользнул по лицам, задержался на мгновение на Колькином «сидоре», пошел шарить по нижним полкам. Облюбовав огромный — довоенного выпуска — рюкзак, луч замер. Рюкзак лежал на коленях рослого парня в добротном пальто и бурках. Парень спал, прижавшись щекой к рюкзаку.

Фомин разбудил парня и приказал, кивнув головой на рюкзак:

— Развязывай!

— Зачем?

— Развязывай! — Фомин ткнул парня в бок.

Парень сразу сник, стал лихорадочно распутывать тесемки. Его пальцы мелко-мелко дрожали. Фомин выругался, поторопил:

— побыстрей!

Прошла минута, и из рюкзака посыпались, как из рога изобилия, баночки и сверточки, перевязанные шпагатом. Ощупывая их, Фомин бормотал:

— Колбаска... Рыбка... Сахарок...

Владелец рюкзака молчал. Вначале это просто удивляло меня, потом начало раздражать. «Самый настоящий грабеж!» — решил я и крикнул:

— Положи все на место, Фомин!

Жулик вздрогнул.

— Кто?.. Что?.. Откуда мою фамилию знаешь?

— Знаю! — объявил я.

— А ну покажись — кто таков? — потребовал Фомин.

Я спрыгнул вниз. Спрыгнул и понял: «Глупо!» У меня часто бывало так: сперва сделаю, потом начинаю думать. Хоть эти парни и были ненавистны мне, я все же остерегался их: «Шпана есть шпана. Пырнул финкой и...»

Из соседних купе высунулись взлохмаченные физиономии. Проснулся весь вагон. Только папаша спал сном праведника.

Никто не вмешивался. Все ждали, что произойдет дальше.

— А-а... — разочарованно произнес Фомин. — Это ты? Сейчас я из тебя котлету сделаю.

— Только посмей! — Петров тоже спрыгнул вниз.

— И ты хочешь? — Фомин ухмыльнулся. — Да я вас двоих одной соплей перешибу.

— Не перешибешь, — сказал Колька и загородил меня. Со стороны это, должно быть, выглядело смешно: большой и маленький, Пат и Паташон, и маленький защищает большого.

Все заулыбались. Даже Ярчук улыбнулся. Потянул дружка за рукав:

— Оставь их.

Фомин стал собирать банки, свертки.

— Ничего не трогай! — срывающимся от волнения голосом крикнул Колька.

— Заткнись! — прошипел Фомин.

«Дурак, — подумал я о Кольке. — Сейчас накостыляют нам».

Фомин направил луч на Николая, спросил с издевкой:

— Вдарить?

Я не успел сообразить — Колька выбросил кулак.

— Псих! — завопил Фомин. Сунул руку в карман.

Я понял, что обозначает этот жест. Внутри что-то оборвалось.

— Оставь их, — повторил Ярчук. — После поквитаемся.

Когда мы влезли на полку, Колька сказал:

— А ты, оказывается, смелый!

Я промолчал. Я не считал себя храбрецом, но Колькина похвала польстила мне.

— А я испугался, — признался Колька и всхлипнул.

Спать не хотелось. Вагон тоже не спал. Долетали голоса:

— ...молодцы!

— ...маленький особенно!

Показалось лицо владельца рюкзака.

— Это вам, ребята. — Он протянул сверток, в котором оказалась ветчина, нарезанная тоненько, как в довоенное время.

Я обрадовался, а Колька удивленно спросил:

— Откуда такая?

— Отец принес.

— Отец?

— Отец. Он у меня агент... агент по снабжению. — Владелец рюкзака произнес последние слова с такой гордостью, словно его отец был маршалом или наркомом. — У нас дома такая ветчина не переводится.

— Значит, твой отец жулик. — Колька возвратил ветчину и добавил: — Жуликов стрелять надо!

В Горький поезд прибыл с опозданием. Мы вышли на привокзальную площадь. Длинными космами стлалась поземка, ветер швырял в лицо сухой, колючий снег. В центре площади на месте клумбы возвышался сугроб, на скамейках лежал снег, слегка припорошенный паровозной гарью. Я вспомнил все, что знал о Горьком — и городе, и писателе — и стал рассказывать об этом.

Меня никто не слушал. Все поживались от пронизывавшего до костей ветра, с тоской поглядывали на вокзальные двери, из которых вырывались клубы пара. Все старались встать так, чтобы не он, а кто-нибудь другой подставлял бы ветру свою спину.

Папаша пересчитал нас — на этот раз без моей помощи: теперь мы не бродили, как в Москве, по привокзальной площади, стояли кучей, прижимая ладони к щекам.

— Пошли, сынки,— буднично сказал папаша, убедившись, что нас по-прежнему пятьдесят шесть.

Мы как стояли кучей, так и двинулись, зябко поводя плечами, стараясь держаться поближе друг к другу.

— Не табуном, не табуном! — спохватился папаша и приказал нам разбиться по двое.

Мы встали по два в ряд и поплы по булыжной мостовой в город, задернутый серой морозной пеленой.

— Далеко идти? — спросил я папашу: было очень холодно, ходить пешком я не привык.

— Километра четыре,— ответил папаша.

— Ого! — воскликнул я и подумал про себя: «Теперь на трамвае не покатаешься. Теперь всегда пешком придется».

Ветер не стихал. Обледенелые ветки постукивали одна о другую. «Как мертвецы костяшками», — почему-то решил я. Булыжники на мостовой, тоже обледенелые, блестели, словно отполированное дерево.

Повалил снег. Я позабыл дома шарф, и теперь острые, как гречневая крупа, снежинки, попадая за воротник, обжигали спину, вызвали озноб. Тело покрывалось пупырышками, деревенели ноги.

Одет я был неважно: кожаная куртка без теплой подкладки — вся в латках и штопке, брюки из «чертовой кожи» — хлопчатобумажной ткани в рубчик, напоминавшей брезент, парусиновые полуботинки, выкрашенные остатками гуталина в черный цвет.

Прохожие прятали носы в воротники, а мне спрятать нос было некуда — воротник моей куртки не поднимался.

Над крышами клубились дымки. Я позавидовал тем, кто сидит сейчас в тепле, и пожалел о том, что попал в Горький, а не в Ташкент или Самарканд. Захотелось крепкого чая, пусть без сахара, но обязательно крепкого, обжигающего нутро, дающего хоть на несколько секунд ощущение сытости.

Снег валил и валил. Сугробы росли прямо на глазах, и скоро весь город стал казаться мне одним огромным сугробом с торчащими из него трубами. Маленькие, без прицепов, трамваи напоминали плывущие по каналу катера. Около магазинов с залепленными вывесками не было ни души. В Горьком с продуктами, наверное, еще хуже, чем в Москве. Люди в гражданской одежде встречались редко, военные же попадались на каждом шагу. Небольшие группы солдат топали в сопровождении сержантов вольным шагом, а подразделения под командой офицеров «держали ножку» и пели — над колоннами клубился пар.

Ребята о чем-то спрашивали друг друга, даже шутили. Я их не слышал — совсем околел. Подошел к папаше и спросил, с грудом двигая онемевшими губами:

— Далеко еще?

— Вона! — Папаша показал на дом с колоннами, стоящий на горке, а лучше сказать на какой-то припухлости, которую огибала трамвайная линия.

Я подумал, что до этого дома проще было бы доехать на трамвае, а не тащиться пешком через весь город. Но я только подумал так — вслух ничего не сказал: говорить было бесполезно — мы уже прибыли.

В доме с колоннами до войны был клуб — об этом напоминали огромные буквы, сделанные из гипса, намертво прикрепленные к фасаду. В этом клубе, должно быть, устраивались танцевальные вечера: оркестранты дули, округлив щеки, в блестящие трубы, пианист, растопырив пальцы, ударял по клавишам, дирижер разводил в стороны руки, словно собирался заключить в объятия весь оркестр, ударник творил чудеса: подбрасывал барабанные палочки, проводил металлической кистью по медному диску, как будто счищал с него пыль, нажимал на педаль, отчего одна

из «тарелок» подпрыгивала и звучно шлепалась на другую. В клубе шелестели платья, пахло духами. Возбужденные музыкой сияющие женщины выбегали в фойе повертеться перед зеркалом, окантованным позолоченным багетом; мужчины окидывали их оценивающими взглядами, задерживали глаза на наиболее стройных и красивых; женщины в свою очередь посматривали на мужчин, отмечая про себя, кто из них симпатичный, а кто нет.

До войны в клубе было празднично, весело. А теперь в зрительном зале с огромными — от пола до потолка — окнами стояли по обе стороны двухэтажные нары без матрацев. Я взглянул на них: «Неужели спать придется на голых досках?»

За окнами виднелись крыши, занесенные снегом. Окна были и на левой, и на правой стороне — одно подле другого. Они создавали впечатление пространства. Казалось, мы находимся не в помещении, а на улице. Может быть, поэтому я не мог согреться.

Папаша куда-то ушел. Вместо него появились двое — старший лейтенант и старшина.

Старший лейтенант понравился мне сразу. Лет двадцати семи, плотный, с чуть кривоватыми ногами, какие бывают у кавалеристов, с полными, как у женщины, ляжками, в хромовых сапогах с приспущенными голенищами, он все время наматывал на палец рыжеватую прядь и улыбался, показывая рот, набитый золотыми зубами.

— Здорово, орлы! — весело сказал старший лейтенант. «Орлы» заулыбались и ответили вразнойбой:

— Здравсте...

— Привет...

— Наше вам...

— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! — крикнул я.

Старший лейтенант хлопнул себя по ляжкам и захохотал, ослепив нас золотом зубов. Петров подтолкнул меня, прошептал восхищенно:

— Во дает!

«Точно!» — подумал я. Старший лейтенант действительно «давал» — такого заразительного смеха слышать мне не приходилось.

— Детский сад... Как пить дать, детский сад, — проговорил старший лейтенант, вытирая запястьем выступившие слезы. Обернувшись к старшине, добавил: — Сыроват, старшина, матерьяльчик? А?

Старшина молча кивнул.

Был он прямой, как палка, и такой же тонкий, туго перехваченный в талии ремнем, отчего казался состоящим из двух половинок, на одной из которых выделялось лицо нездорового, землистого оттенка с маленьким упрямым ртом, а на другой — начищенные до блеска офицерские сапоги, плотно облегающие икры.

Продолжая улыбаться, старший лейтенант сказал нам, что он командир нашей роты — Старухин.

— А это, — старший лейтенант кивнул на своего спутника, — старшина роты Казанцев. — Обернувшись к нему, приказал: — Приступайте к своим обязанностям, товарищ старшина!

Казанцев щелкнул каблуками, вздернул сжатую в кулак руку к виску, распрямил пальцы, сказал: «Есть!» — и резко бросил руку вниз. Получилось это красиво, ловко. Я решил: «Надо будет научиться козырять точно так же».

Старший лейтенант ушел, одарив нас напоследок сиянием своих зубов. После его ухода Казанцев обвел нас недобрый взглядом и сказал отрывисто, словно затвор взвел:

— Ста-новись!

Мы построились, образовав волнистую линию. Все держали в руках «сидора», словно боялись расстаться с ними.

— Отставить! — крикнул старшина и приказал сложить «сидора» в угол, потому что, по его мнению, мы держались за них, как за мамкины титьки.

Я рассмеялся. Казанцев посмотрел на меня, мрачно пообещал:

— Заплачешь скоро.

Я прикусил язык.

Мы сложили «сидора» и снова построились.

— Сми-ир-на! — рявкнул старшина.

Я вытянулся, словно аршин проглотил. Дальше ничего интересного не произошло. Старшина обозвал нас стадом, пообещал сделать из нас настоящих солдат. Сообщив это, командовал:

— Разой-дись!

Мы не спеша разошлись.

— От-ставить! — рассердился старшина. — По команде «разойдись» пулей лететь надо. Ясно? А ну порепетируем. Становись!

Мы снова образовали волнистую линию.

— Равняйсь!.. Смииирнаа!

Я глядел прямо перед собой: видел кусок неба, с кото-

рого сыпал и сыпал снег, часть крыши с дымившейся на ней трубой. Все стояли не дыша, боясь нарваться на окрик. Было так тихо, что я услышал голос Левитана. Он читал сводку: «После упорных боев наши войска освободили...» Какой город освободили наши войска, я не разобрал.

— Воль-на!.. Разойдись!

Мы бросились врассыпную. Я помчался сломя голову к заколоченной крест-накрест двери, над которой висела табличка «Запасной выход».

Кто-то упал. Кто-то тяжело дышал мне в спину. Остановившись, я посмотрел на старшину.

— Совсем другой коленкор,— сказал Казанцев и улыбнулся.— А ну, повторим!

Снова прозвучала команда «смирно», я снова услышал радио — только на сей раз вместо сводки передавалась музыка.

— Разойдись!

Я стремглав припустился к заколоченной крест-накрест двери. Около меня, тяжело дыша, остановился Петров. Чуть поодаль — Фомин. Николай взглянул на меня с веселым ужасом.

— Наплачемся,— уныло проговорил Фомин и всадил плевков в темневший на полу сучок.

Боже мой, что тут началось. Казанцев взревел, словно раненый олень-рогач. Его ноздри затрепетали, в узких — монгольского разреза — глазах появился холодный блеск.

— Убрать! Немедленно убрать!!

Фомин хотел растереть плевков подошвой.

— Руками! — громыхнул старшина. — Носовым платочком!

— Нету,— хмуро сказал Фомин.

— Нету? — Казанцев хватанул ртом воздух.— А сопли вытирать чем будешь? Это ж тебе не детский сад, а казарма. Ка-зар-ма! — Старшина произнес это слово уважительно, с придыханием.

Фомин молчал, глядя себе под ноги.

— Еще раз напакостишь — пеняй на себя,— сказал старшина.— Ясно?

— Ясно.

— Не слышу! — повысил голос Казанцев.

— Ясно, товарищ старшина! — отчеканил Фомин.

Казанцев кивнул. Ткнув в меня, Петрова и Фомина пальцем, сказал:

— Ты, ты и ты. На балкон! За постельными принадлежностями. Одна нога — тут, другая — там.

Мы помчались, обгоняя друг друга, на балкон, где лежали матрацы, подушки, одеяла, простыни.

Матрацы оказались тоненькими. Они лежали один на другом, как блины на тарелке. Один матрац полагался на двоих.

Мы укладывали их на нары — один подле другого. Заняли ряд — справа от стены. Нары, расположенные на другой стороне, остались пустыми. Пятьдесят шесть подушек с одинаково торчащими углами возвышались, словно маленькие пики: двадцать восемь пиков внизу, двадцать восемь наверху.

После обеда прибыли еще новобранцы.

— Откуда, ребята?

— Из Кирова. А вы?

— Москвичи.

С новенькими произошло то же самое: Старухин ослепил их золотом зубов, Казанцев назвал стадом. Новички заняли нары по другую сторону.

Потом старшина принес из каптерки шторы — тяжелые, бархатные — те, что, наверное, висели в клубе еще до войны, приказал прикрепить их к карнизам, чтобы не дуло. Прикреплять шторы пришлось мне, потому что никто не мог даже с лестницы дотянуться до карниза.

Я прикоснулся к шторам и почувствовал: внутри защемило. Шторы пахли театром — тем особым запахом, к которому я привык и полюбил: в театр я ходил часто, особенно в сорок третьем, когда на двадцать рублей ничего съестного нельзя было купить, а в театр сходить — пожалуйста. Чаще всего я ходил в филиал Большого театра. В черной сатиновой рубашке, подпоясанной узким ремнем, в заштопанных брюках, в галошах, подвязанных бечевкой (ботинки сносились, а новые купить было не на что), я, должно быть, выглядел нелепо, но война «списывала» все — на мой внешний вид никто не обращал внимания. Да и вся остальная публика была одета совсем не так, как в мирное время: женщины были в простеньких, чаще всего темных платьях без украшений, мужчины — в сшитых еще до войны и уже лоснящихся пиджаках. Много было военных, перетянутых ремнями, в сапогах, смазанных за неимением гуталина какой-то дурно пахнущей смесью.

Нарядней всех были одеты капельдинеры — пожилые

женщины и седоусые старцы, проработавшие в театре, видимо, не один десяток лет. На капельдинерах были темно-синие костюмы с выпуклыми пуговицами. Я смотрел на капельдинеров и думал: «После войны сошью себе точно такой же костюм».

...Шторы прикреплены. Сразу стало тепло и уютно...

Ночью нас повели в санпропускник. Моя куртка, прожаренная и пропаренная, загремела, как рыцарские доспехи, одежда запахла кислым, но я не переживал — нам выдали форму: не новую, б/у, однако приличную. И хотя я мечтал о сапогах, получил бутсы. Старшина тут же, в бане, стал обучать правильно наматывать обмотки. Я решил пофорсить, намотал их чуть ниже.

— Фасон давишь? — спросил старшина. — Перемотать! На два пальца ниже колен. Ясно?

— Так точно, товарищ старшина!

Казанцев одобрительно кивнул:

— Так всегда отвечать надо. Молодец!

Свою гражданскую одежду я продал по дешевке банщице — востроглазой, суетливой старухе. Так же поступили и другие ребята.

Продав одежду и почувствовал: отрубил последнюю нить, соединявшую меня с домом, с прежней жизнью, одним словом, с «гражданкой».

6

Занятия — строевая подготовка и прием на слух — начались сразу же. Строевой подготовкой мы занимались на плацу, утопанном сотнями ног, километрах в трех от казармы. Строевая однообразна: шагом арш, кругом, налево, направо, смирно, но мне она нравилась и давалась легко.

Нравилось мне шагать первым в ряду, вдыхая грудью морозный воздух, нравилось козырять, «есть» глазами начальство — от ефрейтора и выше, нравилось мчаться с винтовкой наперевес на воображаемого «противника» и вонзать ему в грудь сделанный из дерева, обитого жестью, штык, сожалея о том, что «противник» всего-навсего чучело.

Строевой подготовкой занимался с нами Казанцев. Перед тем как распустить нас на перекур, он командовал: «Смир-наа!» — делал паузу и добавлял многозначительно:

— И стоять, как...

Старшину мы побаиваемся. Он очень дотошный, наш старшина. Увидит грязный подворотничок — наряд вне очереди, услышит бранное слово — то же самое.

В ватном бушлате, стянутом брезентовым ремнем, в американских ботинках — красивых, но пропускающих влагу, в серовато-зеленых обмотках и шапке-«ушанке» с вырезанной из консервной банки звездочкой, я казался сам себе неотразимым и очень удивился, когда две симпатичные девчонки, повстречавшиеся мне на улице, приснули.

Я нес пакет в городскую комендатуру и, облеченный доверием, вышагивал важно, как журавль. Подражая Казанцеву, лихо вздергивал руку, когда навстречу попадались военнослужащие. Мимо этих девчонок протопал — так показалось мне — с особым шиком, а они, такие-сякие, приснули.

Я не на шутку разволновался. Перед отбоем пробрался на балкон, где спали сержанты и старшины, долго смотрелся в зеркало, перенесенное сюда из фойе.

Ничего смешного не обнаружил. Вот только уши торчали да глаза — с голодухи, видать, — лихорадочно блестя. «А в остальном — полный порядок, — успокоился я. — Длинный, но не горбатый, брови густые и улыбка ничего».

За этим занятием меня застал Казанцев. Старшина страдал малярией. Она часто сваливала его с ног. Поговаривали, что он собирается на фронт, но я этому не верил. «Куда ему, дохлому?» — мысленно усмеялся я.

Увлеченный изучением своего лица, я не заметил старшины.

— Жениться надумал? — услышал я.

Вздрогнул от неожиданности, но вытянулся и отчеканил:

— Никак нет, товарищ старшина!

Казанцеву, видимо, было не до меня: на его лбу блестел пот, землистое лицо потемнело еще больше, веки вспухли.

— Ступай, — сказал Казанцев и схватился рукой за спинку стула.

Я повернулся налево кругом, рубанул строевым к лестнице.

— От-ставить!

«Схлопотал!» — испугался я.

— Потише не можешь? — миролюбиво спросил Казанцев.

— Могу... Разрешите идти?

— Иди.

«Меня не проведешь!» — подумал я и стал печатать шаг.

— Олух! — крикнул Казанцев и тяжело опустился на свою койку.

А в общем, он относился ко мне неплохо: я одним из первых становился в строй, на вопросы отвечал зычно — это ему нравилось.

Строевая подготовка огорчений мне не доставляла — не то, что прием на слух.

Говорят, радистом надо родиться, радист должен обладать музыкальным слухом. А мне медведь на ухо наступил: более сорока знаков в минуту принять я не мог.

Это меня огорчало. Профессия радиста мне нравилась: после войны я собирался поступить в торговый флот, побродить по белому свету. Но как только инструктор Журба — сержант с нервным лицом и тонкими пальцами музыканта — убыстрял темп, морзянка начинала сливаться в один сплошной писк. Я честно сказал об этом Журбе.

— Что, что? — переспросил сержант.

— Сплошной писк, — повторил я. — Ничего не разберешь.

— Как так не разберешь? — Журба пробежал пальцами по пуговицам на гимнастерке: — Обязан разобрать.

— Не получается!

— Получится! — сказал Журба и вlepил мне наряд.

— За что? — обиделся я.

— Разговорчики! — крикнул Журба и добавил мне еще один наряд.

Внеочередные наряды. Сколько их было? Сколько километров полов я перемыл? Все спят, а я драю пол. Слипаются глаза, а я все драю и драю, и кажется, не будет конца этим половикам с облупившейся на них краской.

Проклятый Журба! И откуда он только свалился на мою голову? Меньше всего я думал на «гражданке» о том, что в армии придется драить полы. Стрелять — пожалуйста. Но полы драить? Это мне и не снилось.

Драя полы, я часто останавливался и, опершись на палку, к которой была прикреплена швабра, думал о Зое. Иногда мне казалось — она с другим, и тогда мне становилось горько и больно. Но чаще я по-хорошему вспоминал ее, мысленно разговаривал с ней.

Заканчивал мытье полов часа в два ночи. Будил Казанцева. Старшина вскакивал с койки, словно в нем срабатывала пружина, надевал сапог, проводил каблуком по полу. Если оставалась полоска, приказывал:

— Перемыть!

Петров сочувствовал мне — после той истории в поезде мы стали друзьями. Он посоветовал драить полы на совесть только на балконе и старательней около койки старшины.

— В остальных местах просто шваброй проходишь, — научил Колька.

Я так и поступил — сошло: старшина ни о чем не догадался. Да и как он мог догадаться, когда по команде «подъем» с нар срывалось сто двадцать человек и двести сорок бутс с налипшей на подошвах грязью придавали вымытому полу его первоначальный вид.

Получив разрешение спать, я валился, как сноп, на нары. Почти тотчас — так казалось мне — раздавалась команда:

— Первая рота, подъем!

Я вскакивал, одевался, мчался в строй. Сон вроде бы проходил. Но так только казалось. Стоило мне надеть наушники, как на меня наваливался сон.

— Приступили, — говорил Журба и нажимал на «ключ».

Морзянка монотонно попискивала в ушах. Сержант убыстрял темп. Убаюканный морзянкой, я начинал дремать.

— Смиир-на!

Я вскакивал.

— За сон на занятиях бойцу Саблину два наряда вне очереди!

Еще не проснувшись, я хлопал глазами. Придя в себя, спрашивал:

— За что?

Журба выбегал из-за стола с укрепленным на нем «ключом», проводил рукой по пуговицам и добавлял («За пререкание!») еще наряд.

Перед отбоем в роте проводились беседы. Проводил их обычно лейтенант Коркин — тот самый, которого «ложил» в госпиталь папаша. Это был склонный к полноте офицер, похожий на артиста Мордвинова в кинофильме «Котовский». Только у Мордвинова — Котовского лицо было мужественным, а у Коркина в нем проглядывало что-то бабье, несмотря на то что лейтенант часто сдвигал брови и старался говорить раскатисто.

Каждый раз я шел на беседу с тайной надеждой вздремнуть хоть десять минут.

Вздремнуть не удавалось — голос Коркина мог разбудить даже мертвого.

Все время, не говоря уже о беседах, лейтенант агитировал нас за Советскую власть, словно мы были пришельцами с другой планеты. Он мог часами объяснять, что черное — это черное, а белое — белое. Больше всего любил Коркин читать нравоучения. Остановив кого-нибудь из нас, спрашивал:

— О чем размышляете, товарищ боец?

Если мы терялись, лейтенант хмыкал и произносил речь минут на пятнадцать-двадцать. Мы стояли руки по швам и хлопали глазами.

Быстрее всех сориентировался Паркин — тот парень, у которого отец был агентом по снабжению. Когда Коркин прихватил его, он бойко ответил:

— О фронте думаю, товарищ лейтенант!

Коркин расцвел, похлопал Паркина по плечу. Но речь же толкнул — покороче, правда.

Паркин соврал. Он боялся фронта, как черт ладана. Иногда с ним что-то происходило, и тогда он признавался, что не прочь «зацепиться» в тылу. Он только на словах был патриотом. Слушая его, я думал: «Выставлять на показ патриотизм — все равно, что говорить направо и налево о любви к девушке».

Беседы Коркин начинал всегда одной и той же фразой:

— Хороший разговор для солдата все одно, что котелок каши.

Лично я предпочел бы кашу. Хотел сказать об этом лейтенанту, но Колька посоветовал не валять дурака.

...— Солдатская служба — одно удовольствие, — про-
рокотал лейтенант. — За все мы, ваши командиры, в отве-
те. Мы шариками крутим. А солдатам — что? Солдатское
дело — простое. Ошибся солдат — с командира спрос.
Набедокурил — опять с него.

Мы переглянулись.

— Я серьезно, — продолжал Коркин. — Вы, товарищи,
понять это должны.

«Чушь!» — Я перестал слушать лейтенанта, подумал
о том, что скоро все лягут, а мне придется драить полы.
Если бы не Коркин, я мог бы заблаговременно пригото-
вить ведро, швабру, сэкономил бы несколько минут для
сна. «Закругляйся!» — молил я лейтенанта. Коркин не
закруглялся. И тогда я мысленно напялил ему на голову
поварской колпак.

— Чему улыбаетесь, товарищ боец? — спросил Кор-
кин, оборвав речь на полуслове.

Я вскочил, брякнул первое, что пришло в голову:

— Анекдот вспомнил, товарищ лейтенант!

— Смешной? — оживился Коркин. — Выкладывай да-
вай, если он не того... не срамной.

Все остроумные анекдоты, как на грех, повыскакивали
из головы. В памяти вертелся только один — про то, как
муж уехал в командировку.

«Выдать» срамной анекдот я не посмел. Пробормотал:

— Забыл, товарищ лейтенант.

— Эх, ты, голова — два уха, — произнес Коркин свою
любимую поговорку. — Вспомнишь — расскажешь.

После беседы поманил он меня пальцем:

— Вспомнил?

— Никак нет.

Лейтенант сдвинул брови:

— Приказываю, к завтраму вспомнил чтоб!

Я ответил «есть» и подумал про себя: «Влип!»

Пришлось обратиться за помощью к Кольке. Он посо-
ветовал рассказать анекдот про Сталина, Рузвельта и
Черчилля. Сталин в этом анекдоте перехитрил всех.

— Ну? — спросил на следующий день Коркин.

Я «выдал» ему анекдот про Сталина, Рузвельта и Чер-
чилля.

— Ничего, — улыбнулся лейтенант. — Политически ты
вроде бы подкован.

Я стоял, довольный собой, и, как учил Казанцев, «сл» глазами начальство.

— Комсомолец? — спросил Коркин.

— Никак нет!

— Почему? — насторожился Коркин. — Не приняли или?..

— Не успел, товарищ лейтенант!

— Перед отправкой на фронт примем, — обнадежил Коркин. — Ты готовься, так сказать, овладевай... Наряд у тебя сегодня какой — очередной или?..

— Внеочередной, товарищ лейтенант!

— За что?

— Сержант Журба наказал. Прием на слух не идет.

Коркин неодобрительно засопел...

Иногда вместо Коркина беседы проводит Старухин. Старший лейтенант садится в кружок среди нас и начинает рассказывать о положении на фронтах, о важности нашей профессии — профессии радиста.

— Представьте, — говорит он, — что на фронт скрытно прибыла вражеская дивизия. Первым обнаружить ее может радист. От вас во многом будет зависеть исход сражений.

— А если прием на слух не идет? — спрашиваю я.

Старший лейтенант разводит руками.

— Значит, меня отчислят? — допытываюсь я.

— Поживем — увидим, — отвечает старший лейтенант.

Рассказывает он просто, доходчиво, интересуется — получаем ли мы письма от родных, сочувствует Ярчуку и Петрову, которые давно не имеют вестей от отцов-фронтовиков.

— Я тоже хочу на фронт, — признается Старухин, — но не отпускают.

Мы понимаем его, потому что сами хотим повоевать. Паркин стучит в грудь кулаком:

— За Родину мы, товарищ старший лейтенант...

— Настоящий патриот — не тот, кто митингует, — пребывает его ротный.

После политбеседы Старухин предлагает нам спеть.

— Задушевное что-нибудь. А?

Мы, естественно, соглашаемся.

Больше всех старается Паркин. Он смотрит на ротного

собачьими глазами, подтягивает ему сочным баритоном, заглушая жиденький командирский тенорок.

Старшему лейтенанту это не нравится. Он начинает дирижировать, показывая жестами, что петь надо тише. Паркин, дурак, не понимает командирских жестов, разливается во всю ивановскую: на его лице блаженная улыбка, грудь вздымается, как кузнечные мехи.

Паркина я терпеть не могу. Он принадлежит к числу тех, кто смотрит в рот начальству, кто не упустит случая поддакнуть офицеру, услужить сержанту. Коркин к нему благоволит, а ротный вроде бы уже раскусил его. Во всяком случае, когда Паркин начинает поддакивать, старший лейтенант бросает на него иронический взгляд.

Я петь не умею. Я просто ору. Старший лейтенант смотрит на меня с укоризной. «А ну ее к черту, самодеятельность эту!» — думаю я и смолкаю.

Дружно поется только первый куплет, потом ребята начинают подтягивать ротному через пень колоду, потому что слов не знают и наконец вовсе смолкают к большому удовольствию старшего лейтенанта, который продолжает петь один — самозабвенно, наматывая на палец рыжеватую прядь. Это у него привычка.

8

Возле входа в казарму висит фанерный щит, выкрашенный красной краской. К самому верху прибиты маленькими гвоздиками выпиленные лобзиком буквы, образующие надпись: «Доска приказов и объявлений». Каждый день на ней появляется что-нибудь новенькое. Неизменным остается лишь лист плотной серой бумаги, приколотой к середине щита четырьмя ржавыми кнопками. Это — график дневальства. Написан он четко, без всяких завитушек. Даже «о» состоит из прямых линий. Буквы похожи на солдат, стоящих в строю. Кажется, скомандуй им: «Шагом марш!» — и они двинутся с места.

Сегодня двадцать второе число. Против него — моя фамилия. Значит, мне сегодня дневалить ночью.

Дневалить ночью — абракадабра какая-то. Дневалить — обозначает день. Для ночных дежурных надо выдумать другое слово.

Я уже дневалил — ничего приятного. Может, именно поэтому с утра плохое настроение.

— Заступаешь сегодня, — напомнил мне старшина после утренней поверки.

Дневальство сегодня предстоит трудное: в роту «похоронка» пришла — у Ярчука отец погиб.

Ярчук прочитал письмо и окаменел. Сидел на нарах, опустив на грудь остриженную наголо голову с темным пятном на макушке.

Хоть Ярчук и шпана, мне его жаль. Хотел было утешить его, но не нашел подходящих слов. Фомин водички принес. Под «Доской приказов и объявлений» бачок стоит с прикрепленной к нему, как на вокзалах, кружкой. Фомин так рванул кружку, что цепочка лопнула.

— Заметит старшина — крик поднимется, — предупредил Петров.

— Плевать! — ответил Фомин и покосился на балкон.

Ротный освободил Ярчука от занятий. Старшина скрипил губы, а я подумал: «Правильно!»

— Везет же людям! — сказал Фомин и, спохватившись, вильнул взглядом в сторону Ярчука — тот ушел в себя, ничего не слышал, ничего не видел.

Пока мы в глубоком тылу, но все понимают, что в любой день и час нас могут поднять по тревоге, погрузить в теплушки и... Я жду этого — радист из меня, несмотря на все старания, не получается. Иногда кажется — фронт находится совсем рядом: на улицах много военных, патрули проверяют документы. Утром, во время поверки, мы ловим голос репродуктора, который висит на балконе — там, где спят младшие командиры. Чаще всего репродуктор сообщает что-нибудь приятное, но бывает, что каждый день он твердит, словно попугай: «Продолжаются упорные бои...» Я уже освоил военную терминологию и понимаю: «Упорные бои» — это атаки и контратаки, кровь на безымянных высотках, лесных опушках, в деревеньках...

— Первая рота, отбой!

Я смотрю на ребят, стаскивающих гимнастерки, и думаю: «А мне стоять и стоять».

Засыпает рота мгновенно, но сегодня многие не спят: видимо, родичей-фронтовиков вспоминают. Колька тоже не спит: ворочается с боку на бок, вздыхает шумно.

— Ты чего? — спрашиваю я.

— Батя на уме, — отвечает Колька. — Может, его уже нет в живых.

— Тогда бы «похоронка» была,— успокаиваю я Кольку.

— Верно, — соглашается Петров и натягивает на голову одеяло.

Ярчук лежит с открытыми глазами, устремив взгляд в потолок, в центре которого висит огромная, потемневшая от пыли, люстра без лампочек. Старшина часто поглядывает на эту люстру, произносит вполголоса:

— Почистить бы. Только как доберешься?

Я боюсь: он придумает что-нибудь, и тогда мне, как самому длинному в роте, придется лезть под потолок.

Чистоту наш старшина прямо-таки обожает.

— Казарма — это прежде всего чистота,— не устает повторять он.

Многие на Казанцева обижаются, называют его за глаза сволочью, а мне он нравится. Для меня горе — Журба. И зачем таких, как он, в армию берут?

Ярчук все еще не спит. Меня так и подмывает подойти к нему. Только собрался, в казарму Старухин вошел вместе с Казанцевым и командирами взводов. Кивнув в сторону Ярчука, ротный спросил:

— Как он?

— Не спит, товарищ старший лейтенант,— шепотом доложил я.

Ротный посмотрел на Казанцева. Тот промолчал. Старухин еще раз посмотрел туда, где лежал Ярчук, и сказал:

— Давайте, старшина!

Казанцев вобрал в легкие воздух.

— Первая рота, подъем!.. Тревога!

Посыпались с нар призраки в желтоватых — из неотбеленной бязи — рубашках и кальсонах. Кое-как одевались гимнастерки и брюки, кое-как шнуровались ботсы. Скорее, скорее — лишь бы в строй не опоздать. Опоздаешь — будут неприятности. А неприятность у солдата одна — внеочередные наряды и «губа».

— Становись, Саблин, и ты,— сказал Старухин.— Ярчук подменит.

Рота построена. Выходим на улицу, на мороз. Город спит — притихший, настороженный. Ни огонька. В сорок первом Горький бомбили. Вблизи него важный объект — автозавод. Сейчас там танки делают. Скорее бы на фронт! На фронтовиков все смотрят с уважением. «Фронтовики

Саблин прибыл в ваше распоряжение!» — скажу я Зое, когда мы встретимся. А встретимся мы, судя по всему, уже после войны. Скорей бы она кончалась!

Скрипит под ногами снег. Хлебом потянуло. Скоро пекарня. Мы часто проходим мимо нее, и каждый раз я вспоминаю пекарню на Шаболовке, дом родной и все прочее, что можно назвать прежней жизнью.

Здесьняя пекарня похожа на амбар. Около нее стоят клячи с выпирающими боками. На санках — фанерные фургоны. Людей не видно. Хлебовозы, наверное, в тепле сидят: на улице градусов тридцать, если не больше. Я вдыхаю запах свежеспеченного хлеба и думаю: «Все пекут и пекут, а его не хватает. Наверное, потому, что из этого хлеба сухари делают и на фронт отправляют».

— Строевым! — командует старшина.

Рота печатает шаг. Дорога знакомая: поворот, еще и — плац. Помаршируем минут сорок — и назад, в казарму; досыпать. Без учебных тревог, видать, не обойтись — они в солдатской жизни что-то вроде букваря...

Начальство ушло, и я снова дневалю. Ярчук по-прежнему не спит. Мне слышно, как он вздыхает, заглушая солдатский храп, бормотание и прочие звуки. Спит рота трудно, тяжело. Ребята стаскивают друг с друга одеяла (в казарме прохладно), скребутся, вспоминают кого-то непотребными словами, заново переживают нелегкий солдатский день.

Витька Ивлев — тот самый парень, который стрельнул нахальным взглядом в Зою, — попросил меня разбудить его часика через три.

— Только обязательно, — пробормотал Витька, и в его глазах появилась тревога.

Пора будить Ивлева. Он спит на спине, оттопырив нижнюю губу.

— Витьк... Витька...

Ивлев садится, раскачивается, словно ванька-встанька. Ошалело смотрит на меня. Бормочет что-то: не то благодарит, не то ругает.

— Витьк... Витька...

Он шарит босыми ногами по полу, находит ощупью ботсы, сует в них, словно в шлепанцы, ноги и мчит в уборную.

Паркин спит, как фон-барон, заняв весь матрац, спих-

нув на «чужую территорию» своего соседа — Ивлева. Они каждый день ссорятся.

— Ты что меня ночью пинаешь? — спрашивает Ивлев.

— Я? — удивляется Паркин.

— А кто же?

— Это тебе снится, — с достоинством произносит Паркин и удаляется. Ходит он вразвалочку, по-смешному выворачивая ноги, на которых поверх казенных намотаны еще одни портянки — шерстяные, присланные из дома.

Витьке надоело цапаться с Паркиным, и он пожаловался старшине.

— Ты, это самое, полегче, — предупредил Паркина Казанцев.

Тот стал оправдываться.

— Полегче, сказано! — гаркнул старшина.

— Есть! — Паркин вытянулся.

Храпит он — не приведи бог. Кажется: барабанные перепонки лопнут.

Дергаю Паркина за ногу. Храпеть он перестал. Только отошел — снова. «Может, облить его? Заорет спросонья, олух царя небесного, перебудит всю роту. Лучше почаще за ногу дергать».

Живется Паркину лучше, чем нам. Он уже получил пять посылок. Каждый день украдкой жрет колбасу, сало.

Подходит Ярчук.

— Ты куда? — спрашиваю я.

— Покурить.

— Кури тут — старшина дрыхнет.

Ярчук сворачивает папироску. Он похож на больного: глаза покраснели, нос заострился, щеки ввалились.

— Ничего, — утешаю я. И чувствую — не то говорю.

— Мне бы только до фронта дорваться! — зло произносит Ярчук и разгоняет рукой махорочный дым.

Я молча киваю.

Затоптав окурок, Ярчук уходит. Я подбираю окурок, сдуваю пепел. Если увидит окурок старшина — мне не поздоровится. Не долго думая, сую его в тумбочку. Там — письмо. Адресовано оно Фомину. «От Мироновой Зины, — читаю я про себя. — Наверное, от той девчонки, которая провожала его». Перед глазами возникает Курский вокзал. Снова вижу эту девчонку, слышу ее смех. И почему-то улыбаюсь.

Хочется прочесть письмо, но я не осмеливаюсь сделать это. «Надо отдать, когда Фомин по нужде пойдет», —

думаю я. Он шастает туда часто. Идет, сонный, придерживая руками спадающие кальсоны с черным пятном на заднице. На моих кальсонах тоже пятно — вот только не помню где. На этот раз вроде бы внизу. И кто только выдумал штамповать солдатское белье? Уж если нельзя обойтись без блямб, то ставили бы маленькие, а не с подкову.

Фомин медленно сползает с нар — легок на помине! Когда подходит, отдаю письмо. Он смотрит на обратный адрес.

— У меня как раз бумажки нет.

— Что ты? — Я чуть не кричу. — Это же от девушки! От той самой!

— Девушек много, а я один, — рисуется Фомин.

«Негодяй!» — думаю я. Каждый шаг, каждое движение этого человека вызывают во мне неприязнь. Ярчук — лучше. Он, видать, стал шпаной по ошибке. Наверное, его Фомин с панталыку сбил.

— Пошли — покажу кое-что, — говорит Фомин.

— Что?

— Пошли.

Мне отлучаться нельзя. Так и объясняю Фомину.

— Трусишь? — Он ухмыляется.

Эта ухмылка подстегивает.

— Пошли!

Заведя меня в сортир, Фомин опускает крючок:

— Посчитаться надо. Забыл?

«Влип!» — думаю я и, увернувшись от удара, бью Фомина в подбородок.

Он наклоняет голову, идет на меня, словно бык.

Выбрасываю руку. Фомин отскакивает к стене. Потирая ушибленное место, говорит:

— Я думал — трусишь.

Я трусил, очень трусил. Но старался не показывать это. Почувствовал: покажешь — плохо будет. Когда Фомин ушел, я улыбнулся во весь рот, довольный собой.

До подъема еще два часа. Мне никто не мешает думать, и я вспоминаю Зою.

«С сердцем добрым и кротким...» — так написал Тургенев о Лизе Калитиной. Так я думаю о Зое. Героиня «Дворянского гнезда» жила в прошлом столетии. Зоя совсем не похожа на нее, но я связываю эти два имени в одно. Я пе-

речитывал «Дворянское гнездо» раз пять и каждый раз убеждался: у Лизы Калитиной и Зои Петриной есть что-то общее. Но что? Я сравнивал их внешность — не подходит, прикидывал так и сяк — то же самое. Когда мне надоело это, я говорил себе: «У них нет ничего общего. Просто я вбил это в голову».

Да и в самом деле, что может быть общего у наследницы богатого имени, ставшей монахиней, и у дочери советского инженера, прадед которого, возможно, был собственностью хозяев дворянского гнезда?

Я никогда не видел Зоиного отца, но почему-то думал: «Она похожа на него». От матери в Зое ничего нет. У ее матери волосы темные, у дочери они отливают рыжиной. Нос у Зои точеный, с горбинкой, у матери — вздернутый. Зоину мать природа наградила мощным бюстом, широкой спиной, а Зоя — само изящество. Я часто говорил ей:

— Поступай в балетную студию — примой будешь.

— Ну тебя! — отшучивалась Зоя.

Когда она уехала на Урал, я тосковал. Уже на следующий день стал ждать от нее весточку. Спрашивал почтальоншу:

— Есть мне?

— Пишут, — отвечала почтальонша.

Десять дней так отвечала. А потом пришло письмо. Помню, я притопал с работы — грязный, усталый, и увидел: из двери торчит конверт. Самый настоящий конверт с напечатанной типографским способом маркой! Несмотря на усталость, я чуть не бросился впрысядку. Зоя писала, что каждый день вспоминает меня. От счастья я весь вечер ходил хмельной, даже о голоде позабыл.

Зоины письма всегда при мне. Когда мне удастся остаться в казарме одному — это случается до обидного редко — я достаю ее письма и смотрю на них. Просто смотрю. Я не перечитываю их потому, что помню каждую строчку наизусть. Зоины письма пахнут Зоей. Передать это словами нельзя.

Возвратилась Зоя через два месяца. За это время мы успели сказать в письмах многое и, когда встретились, несколько минут молчали, смущенные, потому что понимали: мы теперь не просто товарищи.

В те дни, когда я работал в первую смену, мы гуляли, ходили в кино. Разумеется, в «Авангард». У нас были там любимые места — те, на которых мы сидели в тот памятный вечер.

Я говорил кассирше всегда одно и то же:

— Два билета, пожалуйста. Десятый ряд, место первое и второе.

— Есть места получше,— отвечала кассирша.— Хотите?

— Не надо,— отказывался я.

Первое время кассирша удивлялась, потом перестала. С любопытством поглядывая на меня, отрывала два билета, совала их в окошечко:

— Ваши любимые.

Зоя всегда садилась около стены. Иногда прислонялась к ней, и тогда меня охватывала грусть. Казалось: Зоя поступает так нарочно. Я страдал, но ничего не говорил ей. Она сама все поняла. За эту чуткость я и люблю Зою. И не только люблю — горжусь, что у меня, Георгия Саблина, такая девушка. Ивлев уже всей роте раструбил о Зоиной красоте.

— Девчонка у Саблина — высший класс,— сообщает Витька всем.

Я помалкиваю, напускаю на себя равнодушный вид, а внутри все поет. Приятно, черт побери, когда хвалят ту, с которой переписываешься.

9

— Часовой на посту — хозяин! — часто говорит старшина.— Ему даже я не указ.

Это мне нравится. Нравится, что часового никто, кроме разводящего и карнача, не имеет права снять с поста. Часовой даже командиру роты не подчиняется. Запросто может пальнуть, если тот приблизится к объекту и не отзовется на окрик. Колька чуть самого Коркина не ухлопал.

Стоял на посту, мурлыкал что-то. Глядь — Коркин пыхтит.

— Стой! — крикнул Колька.

Коркин — ноль внимания.

— Стой! Стрелять буду!

— Свои,— пророкотал лейтенант.

— Ни с места!

— Не узнаете разве? — рассердился Коркин.

Колька затвором щелкнул:

— Ложись!

— Вы что, с ума сошли?

— До трех считаю,— сказал Колька.— При счете «три» огонь открываю без предупреждения. Раз... два...

Лейтенант, естественно, в сугроб плюхнулся. Минут двадцать лежал и ругался, пока разводящий не подоспел.

Позже, в караулке, он обозвал Кольку сукиным сыном и... наградил увольнительной в город.

— Вот с кого пример брать надо! — громогласно заявил лейтенант.— Я думал, он сдрейфит, а он «ложись» — и никаких гвоздей!

Лично я мечтаю задержать генерала — сразу в отпуск отправят. С Зоей повидаться хочется. Кажется, сто лет не виделись. Как она там? Письма хорошие пишет, но ведь бумага все выдержит, в письме что угодно написать можно. Я, например, пишу ей, что скучаю, что вспоминаю ее каждый день. А это не так. Скучать я, конечно, скучаю, а вот вспоминаю не каждый день. Иной раз так намотаешься, что только одно на уме — всхрипнуть бы.

В караул я хожу охотно. Караул для меня все равно, что санаторий: хочешь стой, хочешь попей, хочешь к стенке прислонись. И главное — никто не мешает думать. А думаю я о предстоящей отправке на фронт, о Зое и, конечно, о матери. Вот только о матери думается мало и почему-то всегда в последнюю очередь. Повимаю: это плохо, но ничего поделать не могу — так уж мои мозги устроены.

Вначале мне фронт представляется: пороховой смрад, свист пуль, взрывы. Убивают командира. Наша рота отходит. Немцы совсем близко. Еще немного — и они ворвутся в окопы.

— Ни шагу назад! — Я поднимаюсь во весь рост.— Вперед! За Родину!

Мы преследуем фашистов. Потом меня вызывают в штаб. Поздравляют, присваивают офицерское звание, награждают орденом.

Неправдоподобно? Чепуха! Кто воевал, тот утверждает: на фронте не такое случается.

Я приезжаю в отпуск. Зоя смотрит на мои погоны, удивленно спрашивает:

— Ты уже офицер? И даже орденом награжден?

— Как видишь,— отвечаю я.

— После войны что собираешься делать?

— Служить! У меня, понимаешь, военный талант обнаружился. Все говорят, из меня полководец получится. Быть тебе, Зойка, генеральшей!

Зоя смеется.

Возникает лицо матери. Она смотрит на меня с тихой радостью, говорит, обращаясь к соседям:

— Вот и он нашел место в жизни...

Хорошо, если мечты сбудутся. Только я не верю в это. Но мечтать приятно, и я мечтаю...

Назначают меня всегда на один и тот же объект, на дрова. Это не ахти какой пост. Возле знамени стоят, конечно, почетней. Но к знамени — бархатному полотнищу с золотыми буквами — назначают только отличников боевой и политической подготовки. Недавно мне чуть-чуть не посчастливилось.

Мы ждали начальство. Коркин приказал старшине отобрать двух бойцов гренадерского роста. Выбор пал на меня и еще на одного парня.

— Порядочек! — пророкотал Коркин, оглядев нас с головы до ног.

И тут в казарму вошел Старухин. Узнав в чем дело, отозвал лейтенанта, стал что-то доказывать ему. Коркин возражал. Старухин качал головой. Коркин гукнул на всю казарму, кинул на Старухина сердитый взгляд, приказал старшине:

— Отставить!

Я не очень огорчился — мне и у дров хорошо. Особенно днем, когда снег искрится, когда воздух прозрачен и чист. Мороз прохожих подгоняет, а я холода не ощущаю: на мне овчинный тулуп и валенки. Тулуп коротковат, но мне все равно тепло.

Перед выходом на пост Казанцев напутствует нас:

— Зорче смотрите, ребята! По Волге шваль разная к д...м подъезжает и тащит их.

Мне кажется, старшина просто страх нагоняет. Кому придет в голову красть осиновые бревна с гнильцой в сердцеvine, с налипшим на них льдом? Такое бревно и пятерым не поднять.

Бревна лежат на берегу Волги. Сколько их тут — не знаю. Может, сто кубометров, может, тысяча — я в этом не разбираюсь. Но много. Встанешь на одном конце — другого не видно. Я НП посередине устраиваю — там, где бревна образуют гору. С нее все видно. Видны тоненькие нити тропинок, проложенных через Волгу. По ним пешеходы идут, издали похожие на муравьев. Уткнувшись носами в берег, стоят баржи и катера, занесенные снегом. Не люблю смотреть на них — они кажутся мне мертвыми. Я покойников с детства боюсь. Когда на нашей улице раз-

давался похоронный марш, я под кровать залезал. Выбирался оттуда только, когда похоронная процессия сворачивала к крематорию. Он от нашего дома — две остановки. Ребята ходили туда, а я — избеви бог. Ребята божились: покойники приподнимаются, когда их в печь суют. На меня это впечатление произвело. Даже теперь мерещатся мне охваченные пламенем мертвецы, встающие из гробов. Чаще всего они мерещатся ночью, когда я на посту стою. Вот и сегодня мне в ночь заступать.

Разводящий ушел вместе с Фоминым: он охранял «объект» до меня, и я остался один.

Ветер выл, как стая голодных волков. Дымился снег. Впереди белела Волга, позади смутно вырисовывались амбары и лабазы, похожие издали на средневековые крепости. Над дверью двухэтажного домика с узкими, словно бойницы, окнами раскачивалась синяя лампочка, отбрасывавая тень, принимающую причудливые формы. Страх навалился на меня, но я храбро шагнул вперед — туда, где лежали бревна. Тугой порыв ветра ударил в лицо и чуть не опрокинул. Я отпрянул назад и проклял все на свете.

— Солдат?

Я резко обернулся и чуть не пропорол штыком деда с окладистой бородой, в армяке, подпоясанном шарфом. На его плече болталась берданка, в руке была суковатая палка.

— Не бойсь! — сказал дед. — Я сторож тутошний, Жуков моё фамилиё. Пойду обогреюсь чуток, а ты покарауль покуда — балуют.

— Кто балует? — хрипло спросил я.

— Известно кто — жулье, — охотно объяснил дед и пошел, опираясь на палку, к той двери, над которой раскачивалась синяя лампочка.

Я совсем пал духом. «Лучше бы он не говорил про это». Хотел ринуться следом, но взял себя в руки. «Последним мерзавцем будешь, если с поста уйдешь!» — сказал сам себе и прислонился к столбу, от которого тянулся к лампочке провод.

За каждым углом мерещились бандиты. Страх унижал меня. Решил избавиться от него, начал описывать круги вокруг столба, время от времени кричал в темноту:

— Стой! Кто идет?

Мне никто не отвечал, и это пугало меня еще больше.

То и дело поглядывал на дверь, ожидая деда, который, по моим подсчетам, не только обогрелся, но мог и вздремнуть.

Ветер то ослабевал, то усиливался. Сугробы двигались: чуть-чуть в одну сторону, чуть-чуть в другую. Мне казалось, за ними кто-то притаился. Я направлял на сугроб штык, щелкал затвором и кричал осипшим от волнения голосом:

— А ну выходи! Выходи, сукин сын, а то стрелять буду!

Дед не появлялся. Когда появился, лясы точить не стал, сказал:

— Ежели согреться желаешь, то чайник на плитке.

— Не положено, — ответил я, борясь с искушением юркнуть в дверь — туда, где светло, уютно и — главное — не страшно.

Дед ушел. Ругаясь вслух, негодуя на себя, я снова стал описывать вокруг столба круги, с каждым разом увеличивая их. Так я очутился на берегу Волги. Оглянулся — столба нет. «Ну и пусть!» — подумал я и шагнул в темноту. Подкашивались ноги, но я шел и шел, обретая с каждым шагом уверенность, торжествуя от того, что я преодолеваю страх.

Заскрипел снег. Появились два размытых мглой силуэта.

— Стой! Кто идет? — нервно воскликнул я.

Разводящий назвал пароль. Я рассмеялся про себя, сообразил, что теперь мне заступать в полдень, когда стоять на берегу Волги — одно удовольствие, и стал предвкушать это удовольствие: днем я мог думать не о бандитах и мертвецах, а о Зое, о матери, — обо всем понятном и близком мне.

10

Занимались мы по ускоренной программе — с утра до вечера. Уставали. Да и кормили неважно — каждый день одно и то же: щи или жиденький суп, каша, кусок селедки с выступившей на хребте солью.

А сегодня — «С чего бы это?» — на обед давали колбасу. Я догадался об этом сразу, как только спустился в столовую. Она находилась в полуподвале с массивными, черными от копоти сводами, нависающими над головой, с маленькими, покрытыми морозными узорами окнами, едва пропускающими дневной свет. И днем и ночью в полупод-

вале горело электричество; лампочки были слабыми, освещали они только отдельные предметы; столбом стоял синеватый воздух — смесь кухонного чада, пара и дыхания, полы прогибались, и когда наш взвод вступал в столовую, мне казалось: мы идем по шаткой палубе корабля. По стенам, столам, скамейкам разгуливали рыжие нахальные тараканы. Мы сбивали их на пол щелчками и давили бутсами. После нашего ухода на полу оставались тараканьи трупы.

Раз в месяц в столовой устраивалась генеральная уборка, и тогда все щели, в которых гнездились тараканы, опаривались кипятком. Насекомые исчезали, но ненадолго: через день-другой они появлялись снова. Тараканы вели себя, как фрицы в сорок первом: мы их били, а они лезли и лезли.

Вечером старшина позвал меня в каптерку — небольшую комнату, уставленную стеллажами, сунул зачерствелую краюху хлеба и проговорил медленно, словно деньги отсчитывал:

— Как у тебя с приемом на слух? Непорядок, слышал. Лично я в морзянке ни черта не смыслил, а теперь 60 знаков принимаю. Специально, как вы, не учился. С Журбой посидел маленько и освоил. Это ж простое дело — морзянка. Намного проще строевой! Раз ты строевую осилил, то морзянку и подавно должен. Понял?

— Так точно, товарищ старшина, по́нял!

— Не по́нял, а по́нял. По́нял?

— Никак нет, товарищ старшина! По грамматике «по́нял» будет.

Казанцев скривился, словно ему на мозоль наступили:

— То по грамматике. А по-солдатски «по́нял». По́нял?

— Теперь по́нял, товарищ старшина!

— Вот-вот... А прием на слух освой. Надо, чтоб у тебя и в этом деле порядок был.

«По́нял-по́нял» — запутаешься,— подумал я, выходя из каптерки.— Учителя одно говорили, старшина другое гнет».

Повариха Тоська — разбитная бабенка лет тридцати с темными полукружьями около глаз, лицом, опаленным кухонным жаром и не лишенным привлекательности,— говорила мне:

— Со мной, солдат, не пропадешь! Слушайся только.

Я слушался: надраивал до блеска котлы, мыл миски, чистил овощи.

— Молодец, солдат! — хвалила Тоська. Когда мы оставались вдвоем, спрашивала: — Надежный ты парень, солдат?

— А то как же? — отвечал я, не понимая, куда она клонит. Посоветовался с ребятами.

— Лопух! — сказал Фомин. — Она же втюрилась в тебя.

— Точно, — поддакнул Паркин и ухмыльнулся.

«А почему бы и нет? — решил я. — Женщины любят высоких». Так накрутил себя, что решил действовать без промедления. Когда мы с Тоськой остались вдвоем, я, не мешкая, обнял ее.

— Сдурел? — Тоська схватила половник.

— Ладно тебе!

— Я те дам ладно!

«Вот сволочи — подвели под монастырь», — подумал я про Фомина и Паркина. А тут новая беда — появился Коркин. Покосившись на меня, он спросил:

— Что тут происходит?

Я похолодел, а Тоська сыпанула мелким, сухим смешком, словно горох на пол бросила:

— Да ничего, товарищ лейтенант! Все в порядке, товарищ лейтенант! Разговоры разговариваем, товарищ лейтенант!

— Анекдоты небось?

Тоська похлопала глазами, на всякий случай одарила лейтенанта улыбкой.

Коркин засопел. Потоптался и ушел.

— Забавный мужик, — сказала Тоська, проводив его взглядом. И больше ничего не добавила. Я так и не понял, как она относится к Коркипу.

Сконфуженный, я старался не глядеть на нее. Тоська неожиданно рассмеялась:

— Порученьице выполнишь, кавалер?

— Какое?

— Пустячок. — Тоська отсчитала десять селедок, завернула их в газету. Сунув сверток мне, сказала свистящим шепотом: — Тут базарчик есть. За углом! Продай Штука — пятнадцать рублей. За такую цену с руками вырвут.

Портить отношения с Тоськой не хотелось. Продавать —

тоже. «Это — воровство, — стал я взвинчивать себя. — И кого обкрадывает? Не пойду продавать!»

Так и заявил Тоське.

— Дурак! — спокойно сказала она. Развернула селедки, бросила их в металлический чан. — Ступай дрова колоть. И благодари бога, что я Коркину не пожалилась...

После обеда я рассказал об этом ребятам.

— М-да, — бормотнул Ярчук.

— Каждый живет, как умеет, — сказал Паркин.

— Как ты? — Петров усмехнулся.

— Меня не трожь! — вспыхнул Паркин. — Меня Коркин уважает.

— Что будем делать, мужики? — Ярчук поскреб затылок.

— Надо ротному доложить, — сказал я.

— Бесполезно! Старухину сейчас не до нас. Он даже петь перестал.

Действительно, старший лейтенант уже давно не предлагал нам спеть. Стал он другим: улыбался реже, часто морщил лоб, словно думал о чем-то. Поговаривали, что под него копает Коркин.

— Я сам слышал, — вспомнил Ярчук, — как Коркин советовал ротному нажимать на нас, чтобы сок тек.

— Ну, а Старухин? — спросил я.

— Старший лейтенант жалел нас, говорил, что мы еще не сформировались, что нам по семнадцать только.

— А Коркин?

— Рывкнул: «Они — солдаты!» Старухин тут же вопросик кинул: «А разве солдаты не люди?» Коркин брови сдвинул: «Солдаты — это солдаты».

— А я видел, — сказал Колька, — как Коркин нашему старшине какую-то бумажку подсовывал, требовал подписать ее.

— Ну?

— Старшина сказал: «Тут про командира роты неправильного много», — и поставить свою подпись отказался.

Мы посудачили минут пять, потом Ярчук предложил ходить к старшине.

— Правильно! — одобрил Колька. — Он мужик хоть и взрывной, но справедливый.

Подойдя к каптерке, осторожно постучали в дверь.

— Чего, как мыши скребетесь? — раздался голос старшины. — Входите!

Старшина сидел на табуретке, подперев рукой щеку.

Не изменив положения, посмотрел на нас затуманенным взглядом. «Нездоровится ему», — догадался я.

— Докладывай, Саблин, — сказал Ярчук.

Я доложил.

Старшина фыркнул:

— Тоже мне — Дон-Жуан.

Ребята рассмеялись. Старшина почесал плечо:

— Придется к Коркину идти: он у нас начпрод по совместительству.

Коркин выслушал старшину. Покосившись на меня, сказал:

— Тося — хороший повар. И человек неплохой. Раньше на нее жалоб не было. Может быть, Саблин ошибся?

— Никак нет, товарищ лейтенант! — ответил я.

Коркин сдвинул брови:

— Разберусь!

В тот день на вечерней поверке Казанцева не было. Я решил, что он слег, и дал волю воображению. Представил себе, как после разговора с Коркиным старшина пришел в каптерку, тяжело опустился на табуретку. Его голова наливалась свинцом, по телу пробегала дрожь — предвестница приступа. Я считал Казанцева честным, справедливым человеком и решил, что внутри у него, должно быть, все клокотало: он воочию убедился, что нарушается инструкция, согласно которой солдатам полагается определенное количество продуктов — ни грамма больше, ни грамма меньше. Если бы инструкция предусматривала другую раскладку, более скудную, то Казанцев, наверное, не возмущался бы, потому что все инструкции были для него священны, неуклонно выполнялись им. Из-за пристрастия к инструкциям над старшиной многие посмеивались. Казанцев знал об этом, но «перевоспитаться» не мог, а может, не хотел — он считал инструкции основой воинской службы, о чем заявлял неоднократно.

Перед отбоем, прихватив меня с ведром и шваброй, Коркин стал толкать речь. Мимо пробежали солдаты. Одни усмехались, другие сочувствовали мне. Я слушал лейтенанта вполслуха. Он заметил это, рассердился, влепил мне три наряда вне очереди.

— За что? — воскликнул я.

— За это самое, — пророкотал Коркин и ушел.

Утром на доске приказов и объявлений появилась карикатура: длинный и худой солдат, растерянно озираясь,

держит в одной руке ведро, в другой — швабру. Под карикатурой было написано:

Вот он — любитель пререканий.
Он столько нахватал взысканий,
Что будет скоро, очень скоро,
В роте штатным полотером!

Паркин от радости ног не чуял — мотался по казарме, хватал ребят за руки, тащил их к карикатуре:

— Поглядите-ка, хлопцы, как Саблина раздраконили!

Ярчук взглянул на карикатуру, ухмыльнулся. Встретившись с моим взглядом, нахмурился. Сказал Паркину:

— Тебя тоже следовало бы!

Петров вначале посмотрел на меня, потом на карикатуру:

— Похож.

Он не смеялся. Он лучше других понимал, что прием на слух — дело хитрое.

Сам Витька на слух принимал отлично. За это его хвалил-нахвалявал Журба, ставил в пример.

Казанцев долго разглядывал карикатуру, хмурился, сердито посапывал. Старухин ничего не сказал. А Коркин «отреагировал» в тот же день. Столкнувшись со мной в коридоре — нос к носу — он сказал, не ответив на приветствие: «Зайди-ка!» — и отомкнул большим ключом дверь своего кабинета — просторной комнаты, увешанной плакатами и транспарантами, отчего она казалась завернутой в кумач. В комнате все блестело, все было новеньким, словно только что купленным, даже подшивки и те были новенькими — ни помятых уголков, ни пятен.

— Как же так? — спросил лейтенант, грузно опустившись в кресло, стоявшее во главе огромного стола, накрытого красной материей. — Хотел в комсомол вступить, а угодил в карикатуру?

— Это не карикатура, — возразил я. — Это дружеский шарж.

— Какой такой шарж? Рано тебе в комсомол вступать — вот что. Обмозгуй это на досуге. А теперь ступай.

Три наряда доконали меня — я стал спать даже в строю. На четвертый день, когда до отбоя осталось минут двадцать, подумал: «Ну и выплюсь же сегодня!»

Выспаться не удалось. Вместо команды «отбой», прозвучало:

— Первая рота, в баню!

Раз в десять дней и каждый раз ночью — днем мылось гражданское население — нас гоняли в баню, построенную еще до революции на окраине города купцом-филантропом — в ту баню, в которой я продал гражданскую одежду. Первое время старуха банщица встречала меня льстивой улыбочкой, спрашивала — нет ли еще чего? Убедившись, что у меня ничего нет, она потеряла ко мне интерес.

Баня была длинной, как амбар, с маленькими окнами. Вместо деревянных лавок в мыльном отделении стояли каменные лежаки с выбоинами, шершавые и холодные. От одного прикосновения к ним кожа покрывалась пупырышками.

Перед входом в мыльное отделение старшина раздавал мыло — полужидкое, коричневое, напоминавшее остывший столярный клей. Казанцев черпал мыло из бачка столовой ложкой, стряхивал в подставленные пригоршни.

«Был бы это джем», — каждый раз думал я и нюхал мыло. Пахло оно керосином, пены почти не давало, но грязь сдирало, как рубанок стружку.

Войдя в мыльное отделение, я разомлел и решил покемарить хоть десять минут.

Колька намазался мылом, присобачил к бедру мочалку, стал прыгать, изображая дикаря. Ивлев тоже намазался мылом, тоже привязал к бедру мочалку и тоже стал прыгать.

Это понравилось всем, и вскоре вся наша рота превратилась в сборище дикарей, исполнявших ритуальный танец. Ребята резвились вовсю: им никто не мешал — старшина и сержанты с нами не мылись. Казанцев обычно сидел в предбаннике и изучал очередную инструкцию, отпечатанную на машинке, а сержанты, сойдясь в кружок, обсуждали свои сержантские дела.

Я мыться не собирался. Ошпарив лежак кипятком, растянулся на нем, расслабив мускулы. Покемарить не дали — самым бесцеремонным образом меня согнали с лежака: их не хватало, кое-кому приходилось мыться на полу, поставив перед собой шайку. Я выругался, побрел искать укромный уголок. Обнаружил подходящее место в проходе — он вел в парильное отделение. Парилка работала только днем, сейчас из нее струился теплый воздух. Я забрался в какую-то нишу и тотчас уснул...

— Саблин? — услышал я сквозь сон. Понял: меня ищут, но разомкнуть веки не смог.

— Вот он! — Кто-то дернул меня за ногу.

Я вылез, уставился на Ярчука.

— Шевелись, Саблин, шевелись! — взволнованно проговорил он. — Старшина психует — житья нет.

Оказалось, все вымылись, оделись, а меня нет. Казанцев злоеще произнес:

— Ну-у...

Все сразу поняли, что обозначает это «ну-у».

— Может, Саблин к бабам махнул? — предположил Паркин.

— Соображай! — Казанцев показал на мое барахло — оно сиротливо лежало на отполированной голыми задницами скамье.

Когда я вошел, старшина крикнул:

— В строй!

Я потянул руку к одежде.

— Как есть! — громыхнул Казанцев.

Рота шевельнулась и снова замерла.

«Голым так голым», — подумал я и встал в строй.

Прозвучала команда «мирно», и я получил еще три наряда.

От обиды чуть не заревел. Когда мы пришли «домой», старшина подозвал меня и сказал, глядя в сторону:

— К исполнению приступишь через неделю, когда отоспишься. Понял?

Незаметно наступила весна. По ночам подмораживало, днем с длинных и ломких сосулек стекали капли. Сияло солнце, наполняя сердце радостью. Эхо победных салютов докатилось до нашего полка: солдат стали лучше кормить, да и Журба подобрел — наказывал меньше, можно было отдохнуть от внеочередных нарядов.

Лед на Волге посинел. Река вздулась — вот-вот выплеснется.

Весной уехал на фронт Петров. Я запомнил тот день — в тот день вскрылась Волга.

Колька был первой ласточкой. Он настолько освоил радиодело, что стал принимать сто тридцать знаков в минуту — больше, чем Журба.

— Превосходный слухач! — сказал о нем сержант, когда мы прощались с Колькой.

Петров пожимал нам руки, обещал писать. Я не очень верил, что он напишет. Все обещают писать, когда расстаются. А потом: новая обстановка, новые друзья — и...

Колька уезжал вечером. Днем нас повели смотреть ледоход. Мы строем прошли по улицам города, залитого весенним солнцем.

— Песню! — потребовал старшина.

Несколько секунд рота шла молча, печатая шаг. Красиво шла — я чувствовал это. Мы предвкушали песню. Мы хотели петь. Запевала вывел задорно и звонко:

— Здрав-ствуй, ми-ла-я Ма-ру-ся...

— ...здрав-ствуй, цве-тик го-лубой! —

грянула рота.

Прохожие поворачивали головы и — кто с улыбкой, кто с грустью — смотрели на нас. А мы шли и шли, расплескивая грязь, накопившуюся в выбоинах.

Мелькнуло и тут же исчезло посеревшее, вздувшееся тело реки. Рота взошла на косогор и остановилась.

— Ра-зойдись! — скомандовал старшина.

Ряды шевельнулись и распались, словно карточный домик.

С обрыва Волга была видна, как на ладони. Лед, смешанный с мокрым снегом, чавкал, приподнимался, будто кипящая в котле каша. Огромные льдины, встав на «попа», таранили друг друга, валились набок, подминая под себя обломки, резали острыми, как фторштевни, краями тело реки, громоздились одна на другую, образуя холмы. Возле моста бухали взрывы, расчищая реке путь. Лед все напирал, напирал — могучая русская река проснулась.

Я глядел на ледоход и думал: «Вот она, силища! Черта с два, победишь народ, у которого есть такая река. Как хорошо, что я гражданин СССР! У нас все большое — реки, озера, леса. И люди наши такие же — рослые, выносливые, сильные! А если кто из нас и невелик ростом, то сердце у него большое, одним словом, хорошее сердце».

Колька стоял около меня — притихший, сосредоточенный. Он, видимо, думал о том же, о чем и я. Даже на Фомина ледоход подействовал: в его глазах появилось что-то хорошее, доброе.

Казанцев смотрел на ледоход с неодобрением. Я решил: ледоход для него хаос, беспорядок, то, что он терпеть не может.

Вечером Старухин дал мне «увольнительную», и я пошел провожать Петрова. Колька не скрывал своей радости. Да и как было не радоваться, когда он уезжал на фронт — туда, куда стремился и я? Стало вдруг обидно, что его, а не меня отправляют на фронт. «Проклятый прием на слух,— подумал я.— Хоть отчислили бы поскорее,— только хлеб даром перевозжу».

Загудел паровоз, будто выкрикнул что-то. Колька вскопчил на подножку:

— До свидания, Жорка! Я напишу тебе. А в крайнем случае после войны встретимся. Адрес мой помнишь?

— Помню! — Я почувствовал — навертываются слезы.

Получить от Кольки письмо я не успел: через пять дней меня, наконец, отчислили.

12

Пересылка, куда доставил меня неразговорчивый, малообщительный, очень курносый старший сержант, с которым я до этого не встречался, помещалась на окраине Горького в двухэтажном бараке с выпирающими, словно скулы, стенами. Казалось, кто-то большой и сильный надавил на барак, отчего он сплюснулся, округлился, стал похожим на допотопное животное, собирающееся рожать.

Пересылка и впрямь рожала солдат и младших командиров. Они выкатывались по трое в ряд с вещмешками и скатками через плечо из ворот, обитых железными планками. Солдаты и младшие командиры, как догадался я, направлялись или в учебные подразделения, или туда, где формировались маршевые роты.

Обитые железными планками ворота, массивные и прочные, придавали бараку сходство с засекреченным объектом. Это сходство усиливала высокая изгородь, опутанная колючей проволокой, и проходная с узкой дверцей — возле нее и днем, и ночью стояли, сменяя один другого, мордастые сержанты с автоматами на груди; они грозно покрякивали на всех, кто приближался к ним на расстояние менее пяти метров или, как говорили на пересылке, на три обмотки.

Внутри барак напоминал муравейник. По скрипящим деревянным лестницам сновали солдаты и младшие командиры с озабоченными лицами, с ожиданием, застывшим в глазах: пересылка была для сотен людей «исходным рубежом», с которого начинался новый этап солдатского пу-

ти, часто ломавший все планы, мечты, надежды, приносящий одним радость, другим огорчение.

Чаще всего на пересылке звучали две команды: «выходи строиться» и «разойдись». По команде «выходи строиться» солдаты и младшие командиры срывались с нары, рассчитавшись с первой на второй, ныряли в черную прорубь двери навстречу своей судьбе. Команда «разойдись» швыряла людей на освободившиеся места, на нары, точно такие же, на которых я спал вчера, только без матрацев.

Воздух был спертый, тяжелым. Он показался мне густым. Густоту создавал многоголосый гул, какой обычно бывает на вокзалах, когда одновременно говорят тысячи людей. Тускло светили лампочки, мохнатые от пыли. Электричество в бараке горело даже днем: солдатское общежитие не имело окон, только две двери, из которых одна вела в нужник с прорезанными в досках ячейками, другая во двор, где стояли сержанты с автоматами на груди.

Окна были только в кабинетах, расположенных на антресолях, опоясавших солдатское общежитие четким прямоугольником. Иногда на антресолях появлялись офицеры — работники пересылки. Опершись на перила, они курили «гвоздики» — тоненькие папироски и без всякого интереса смотрели на солдат и младших командиров, копошившихся внизу.

В помещении воняло дезинфекцией. Дезинфекцией пахло все — нары, стены, лестницы и даже солдаты и младшие командиры. Казалось, весь воздух пропитан дезинфекцией. Запах хлорной извести щекотал ноздри, вызывал желание чихнуть.

Сопровождающий уверенно поднялся по крутой, узкой лестнице на второй этаж и так же уверенно толкнул обитую железом дверь, на которой висела написанная от руки табличка: «Посторонним вход воспрещен!»

Та уверенность, с которой старший сержант поднялся по лестнице и толкнул дверь, подтверждала: на пересылке он свой человек. Я еще не успел осмыслить это, как очутился в маленькой комнате с решеткой на окне и лампой на длинном шнуре. Абажур напоминал перевернутую эмалированную тарелку, он висел так низко, что чуть не касался стола. За столом сидел, старательно выво-

дя буквы, писарь с влажными прилизанными волосами.

— Привет, Сычев,— сказал сопровождающий, остановившись около стола.— Принимай еще одного.

— Привет,— отозвался писарь, не отрывая глаз от лежащего перед ним листка.

Сопровождающий покопался за пазухой, извлек сложенную вчетверо бумажку, отдал ее писарю. Тот взял бумажку левой рукой — правой продолжал выводить буквы. От усердия он высунул кончик языка: писанина, видимо, доставляла этому человеку удовольствие.

— Кончай, Сычев,— сказал сопровождающий.

— Сейчас! — отозвался писарь. Изобразив на листе завитушку, с сожалением отложил перо. Прочитал документ, который отдал ему сопровождающий, настроил расписку. Все это он проделал не спеша, старательно. Я подумал: «Эти люди передают меня один другому, словно арестанта».

Мельком взглянув на расписку, сопровождающий сунул ее на прежнее место — за пазуху, козырнул писарю и ушел, не попрощавшись со мной. Я почему-то обиделся, решил, что сопровождающий — невоспитанный человек.

Как только старший сержант вышел, писарь схватился за перо и снова стал выводить буквы, высунув кончик языка. Обо мне он, казалось, позабыл. Я напомнил о себе легким покашливанием.

— За что отчислили? — спросил писарь, не поднимая головы.

— Прием на слух не пошел,— ответил я.

— Так.— Писарь кивнул, положил руку на волосы: они высохли, стали налезать на лоб. Одной рукой писарь прижимал волосы, другой продолжал строчить.— Отсюда только таких и отчисляют. Теперь в маршевую загремишь.

— Я и хочу этого!

— Да? — Писарь уставился на меня.

— Так точно!

Писарь усмехнулся, пожал плечами. Не снимая руки с волос, сказал:

— Занимай место на нарах. Понадобишься — вызовем.

Я спустился вниз в солдатское общежитие, порыскал по сторонам глазами, отыскивая укромный уголок, в котором никто не мешал бы помозговать: хоть я и понимал, что придется покинуть Горький, это крепко уда-

рило меня по самолюбию, унизило в собственных глазах.

Размышляя об этом, я брел вдоль нар, волоча по полу «сидор».

— Эй, кореш, гребн сюда! — услышал я.

Безбровый парень лет двадцати трех с плутоватыми глазами, одутловатостью на лице, появляющейся от долгого пребывания в тесном, душном помещении, приглашал меня к себе.

Пригнувшись, чтоб не ушибиться о настил, переступая через спящих, сопровождаемый бранью, я добрался до безбрового парня; он потеснился, освобождая мне место подле себя.

— Откуда родом, кореш? — спросил парень.

— Москвич.

— Землячок. — Безбровый подмигнул мне.

— Ты тоже москвич? — Я обрадовался, потому что чувствовал себя очень одиноким среди сотен людей, одинаково одетых, одинаково остриженных, с одинаково торчащими ушами.

— Нет, — ответил парень. — Мне, кореш, все земляки. Детдомовец я. Без роду и племени. И фамилия моя Безродный. А зовут Гришкой. А тебя как?

Я представился.

— Выходит, как в Одессе говорят, Жора поддержки макентош?

— Ты и в Одессе бывал?

— Ты лучше спроси, кореш, где я не бывал. — Гришка потянулся, снова ощупал взглядом мой «сидор». — Пожрать у тебя не найдется?

Эта бесперемонность покорила меня: все солдаты получали одинаковые пайки, никогда не кланчили друг у друга. Я подумал, что Гришка нахал, но развязал «сидор», вынул хлеб и селедку — сухой паек, выданный мне утром перед отправкой на пересылку.

Гришка извлек из кармана перочинный нож, ловко разрезал хлеб на две равные доли.

— Насчет жратвы плоховато тут, — разъяснил он и вонзил в горбушку большие, тронутые желтизной зубы. — Я, кореш, второй месяц кантуюсь по пересылкам. Два раза чуть с маршевой не уплыл.

Гришка принадлежал к той немногочисленной категории солдат, которые всю войну околачивались в тылу, кочуж с пересылки на пересылку, из одного запасного полка в другой. Когда на фронт отправлялись маршевые роты,

у таких, как Гришка, неожиданно повышалась температура, начинались рези или приключалось с ними что-нибудь другое.

Раскусил я Гришку немного погодя, а сейчас просто удивился, что он, крепкий и сильный парень, не стремится на фронт. Так и спросил.

— А мне и тут не пыльно, — ответил Гришка и отвел глаза.

Меня это не устраивало. Поэтому я сказал, что хочу на фронт.

— Нет ничего проще! — воскликнул Безродный. — К майору Усманову обратись. Вон его дверь. — Гришка показал на дверь, обитую дерматином. — Майор только вошел к себе.

— Попытаю счастья. — Я поднялся.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

— Не торопись. Еще успеешь на фронте побывать. Там сейчас такая заварушка, что...

— Пойду! — твердо сказал я.

Майор Усманов — желтолицый, узкоглазый офицер — молча выслушал меня, спросил фамилию, что-то пометил на лежащем перед ним листке.

— Разрешите идти, товарищ майор?

— Идите.

Я повернулся через левое плечо и, демонстрируя выработку, рубанул строевым к двери. Спинай чувствовал — майор одобрительно смотрит вслед.

— Ну, как? — спросил Гришка, когда я снова забрался на нары.

— Вроде бы порядок.

— Придурок ты. Видать, у тебя шарики не работают.

— Война идет, — сказал я.

— Вот я и говорю — придурок. — Гришка помолчал. — Те боишься, что убьют?

До сих пор я не думал об этом. И вот почувствовал — аколотилось сердце, ладони стали липкими.

— Для меня главное — жизнь, — продолжал Гришка. — Только придурки не любят жизнь.

Это возмутило меня.

— Значит, я глупее тебя?

— Конечно.

— Сука! — Я психанул, навалился на Гришку, стал олотить по его спине кулаками.

Меня оторвали от него. Потирая шею, Гришка про-
скулил:

— Он малость того... Я ему ситуацию объяснил, а он..

Майор Усманов дал мне наряд вне очереди. Когда все
уснули, я взял швабру, ведро и начал драить пол.

Домыть не успел — прозвучала команда: «Подъем!»
Пожилый лейтенант, очень похожий на ефрейтора, сопро-
вождавшего нас в Горький, коверкая фамилии, стал вызы-
вать солдат и младших командиров. «В маршевую отби-
рают», — прошелестело по рядам. Я стоял с шваброй в руке
и почему-то нервничал. Лейтенант назвал мою фамилию
и я тотчас успокоился. Поймал на себе чей-то взгляд: май-
ор Усманов по-хорошему улыбался мне...

13

Ехали мы трое суток, а на четвертые эшелон остано-
вился, лязгнув буферами.

— Вы-ы-жа-а-а... — покатилося от паровоза, где нахо-
дилась теплушка, в которой ехал начальник эшелона
«Вы-ы-жа-а-а» приближалось к нам, становясь все громче
обрастая новыми звуками, пока не превратилось в произ-
несенное нараспев слово «выгружайсь», обозначавшее ко-
нец пути.

Но и без этого слова я понял, что мы прибыли к мест-
назначения, в прифронтовую полосу, потому что услыша-
канонаду, которую принял вначале за раскаты грома. Мн-
уже говорили, что канонада похожа на гром, я заранее
готовил себя к этим звукам и все-таки ошибся.

После команды в нашей теплушке поднялась суматоха
которая происходит всегда, когда поезд прибывает на ко-
нечную станцию. Все одергивали на себе гимнастерки, за-
пихивали в «сидора» пожитки, натянуто улыбались и обра-
щались к друг другу, попизив голос. В этом не было ничег-
необычного, противоестественного, ибо вся наша теплушка
как, впрочем, и весь эшелон, состояла из солдат-первогод-
ков — тех, кто еще не нюхал пороха и о войне судил лишь
по кадрам кинохроники и рассказам бывалых людей.

Неожиданно я почувствовал, как страх, противный
липкий страх, обволакивает мое сердце, и позавидова-
Гришке Безродному, которому и на сей раз удалось отвер-
нуться от фронта. В тылу фронт представлялся чем-т
расплывчатым, я думал не о пулях и снарядах, которы
могут искалечить меня и даже убить, а о подвигах, меда

лях, орденах. А сейчас я слышал, как «играет» артиллерия, и отчаянно трусил, потому что это был не выдуманный, а всамделишный фронт: усиливающаяся канонада лишь подтверждала близость и неизбежность того часа, когда я буду стрелять в «него», а «он» будет стрелять в меня, и еще неизвестно, кто из нас останется в живых, чтобы наслаждаться жизнью, радоваться небу, пусть задернутому, как сейчас, облаками, но способному в один прекрасный миг дать простор солнцу, к которому тянется все живое, ибо мертвым на него наплевать.

Я очень хотел остаться в живых и поэтому трусил. Я трусил, но в то же время думал: «Люди проливают кровь, гибнут, а я трясусь, как щенок. Это мерзко, гадко, это постыдно, в конце концов!» Стараясь не показывать охватившего меня страха, я начал осыпать себя втихомолку последними словами: моя трусость заслужила этого и кто другой, как не я сам, мог в этой обстановке встряхнуть меня? «Бесхребетник, слизняк», — бичевал я сам себя, находя в этом моральное удовлетворение и то успокоение, в котором нуждалась моя нервная система, возбужденная близостью фронта, той минуты, когда я должен буду доказать всем, что я не трус, что в моей солдатской книжке недаром написано «красноармеец». «Лишь бы не убило», — подумал я и спрыгнул на насыпь. Несколько камушков жатилось вниз, в мшистое болото, посреди которого стоял наш эшелон.

Ни станции, ни сторожевой будки — ничего не было. Лишь кое-где возвышались островки, поросшие чахлыми сустиками, да виднелись «окна», наполненные пугающей водой. За болотом — километрах в пяти — темнела узкая полоска леса, показавшегося мне не настоящим, а словно бы нарисованным. Одноколейный путь уходил куда-то вправо, скрываясь за высокой насыпью.

Когда теплушки опустели, состав дернулся и стал пятиться, постепенно набирая скорость. То, что состав пошел вперёд, а назад, лишний раз убедило меня в близости фронта.

Около нас суетились офицеры с обветренными лицами, в прожженных, прокопченных порохом шинелях, совсем не похожих на наши — новенькие, выданные нам по случаю отправки на фронт. Офицеры то и дело подзывали к себе начальника эшелона — капитана с воспаленными от бессонницы глазами и полевой сумкой, распухшей от документов, которая била его по бедру, когда он бежал

к офицерам в своих огромных, не по росту сапогах, не офицерских — хромовых, а самых обыкновенных — солдатских: с широкими голенищами.

Нас построили в две шеренги прямо на насыпи, стоять на болоте было нельзя: ноги тотчас оседали в мох, начинали медленно погружаться в зыбкую, дурно пахнущую, пускающую пузыри грязь. Прозвучали обычные команды: «равняйся», «смирно», «вольно», — после чего молодежавый подполковник с дерзким взглядом и шрамом на лице поздравил нас с прибытием на фронт.

— Вы будете драться с теми, — сказал подполковник, — кто обстреливал Ленинград, кто насиловал ваших жен, убивал ваших детей.

Прозвучала команда:

— Нале-во!

Осыпавшийся под ногами щебень не позволил выполнить поворот с шиком, как учил Казанцев, но на это никто из офицеров не обратил внимания.

— Шагом арш!

Шеренга шевельнулась, и мы пошли по узкой, едва заметной тропке, проложенной через болото, к темневшему за ним лесу. Мы шли в затылок друг другу, а под ногами хлюпала, чавкала маслянистая болотная жижа. Американские боты пропускали воду, как сито, портянки отсырели, набухли, я почувствовал, как на стельках скапливается грязь, липкая и густая, неприятно холодящая ноги.

Впереди меня шел Витька Солодов, с которым я ехал в одной теплушке. Был Витька хрупок, тонок в кости и застенчив, как красна девица. В теплушке на него все покрикивали, гоняли за кипятком и махоркой, которую продавали на пристанционных базарчиках белоголовые деды и сварливые старухи с коричневыми, изрезанными морщинами лицами. Мне надоело смотреть, как помыкают Витькой, и на второй день пути, когда его снова снарядили за кипятком, я сказал ему:

— Отставить! Пусть тот, кто чайку хочет, сам спашает.

На меня покосились, но ничего не сказали. А если бы сказали, то я сумел бы постоять за себя и Витьку.

По болоту мы шли часа полтора, проваливаясь по колено в вязкую топь, выдергивая друг друга из жадно чавкавшего зловонья, как выдергивают из стен неплотно вбитые гвозди. Я все ждал, когда же налетит «он», потому что

знал по кино и газетам: «он» всегда налетает во время марша, но никаких — ни немецких, ни наших — самолетов в небе не было, оно кучерявилось облаками и совсем не походило на весеннее, когда от голубизны больно глазам.

Перед самым лесом болото неожиданно оборвалось, превратившись в начавший зеленеть луг. В лесу дымили полевые кухни. Нас накормили вкусным и сытным варевом, в котором ложка стояла, как солдат на посту. Я смолотил полкотелка с добавкой и подумал: «В тылу такая еда только во сне может присниться».

После обеда на грубо сколоченную, плачущую смолой эстраду поднялись артисты из дивизионного ансамбля, и начался концерт. Сержант в хромовых сапожках, чистенький и аккуратненький, словно только что сошедший с витрины военторга, спел с цыганским надрывом «Бьется печурка огонь...», парень и девушка, тоже сержантскими «барыню». После них выступил старшина роты португеев.

Убей его!», стих Симонова,— сказал он.

Стихотворение я знал наизусть и очень любил его: каждая строчка звучала, как набат.

Старшина не прочитал стихотворение, а отбарабанил.

«Убей бы тебя, гладкого»,— с неприязнью подумал я.

В конце концов нам раздали оружие.

Мне досталась винтовка, на прикладе которой, словно на пальцах, белели зарубки — шесть штук. Чуть пониже их было выжжено: «В. М.». Я понял, что бывший владелец винтовки любил шестерых фрицев. Увидел в этом хорошую примету. Захотелось узнать, кому принадлежала эта винтовка и что стало с ее владельцем. Встав по стойке «смирно» и чеканя каждое слово, я спросил об этом у седоголового сержанта в промасленной гимнастерке, который выдавал нам оружие.

Сержант взглянул на меня с веселым недоумением, вытер ветошью руки, темные от машинного масла, и сказал:

— Вымуштровали тебя хорошо. А стрелять научили? «Никак нет!» — хотел рявкнуть я, но спохватился.

Стрелять я умел лишь теоретически. На стрельбище нас в Горьком не водили. Наше начальство считало, видимо, что нам, слушачам, стрелять не придется, что наше дело — радиogramмы перехватывать, а не из винтовок палить. Коркин говорил об этом во всеуслышание, Журба

подакивал ему, Старухин улыбался иронически, наматывая на палец волосы, а Казанцев молчал, плотно сжав губы. За пять месяцев, проведенных в полку, я всего раз пять или шесть держал в руках настоящую винтовку. Во время занятий нас «вооружали» деревянными карабинами, которые не имели затворов, магазинов и годились лишь для выполнения артикулов. Настоящие винтовки выдавались нам только в дни несения караульной службы. Перед выходом на пост карнач говорил:

— В случае чего, нажимай на это,— и показывал на спусковой крючок.

Стоя на посту, я боролся с искушением пальнуть просто так, а потом сказать, что к объекту приближалась подозрительная личность, не отозвавшаяся на окрик. Я, может быть, и пальнул бы, если бы не боялся «губы», на которую меня обязательно посадили бы после этого случая.

Все это промелькнуло в моем мозгу. Не хотелось мяться, и я сказал сержанту, что стрелять умею.

— Ну, ну.— Он усмехнулся и посоветовал не с вытигиваться, потому что на фронте главное не вы: а личная отвага, смекалка, чувство локтя.

Слова сержанта-фронтовика плохо вязались с тем, что говорил нам Казанцев. Старшина утверждал: гля выправка, а потом уж все остальное. В моей голове ждалась такая путаница, что я чуть было не забыл, за что подошел к сержанту. Но он мой вопрос помнил. Взглянув на приклад, сказал:

— Винтовочка эта старенькая — у многих побывала. Тот, кто зарубки оставил, удачливым был — воевал долго, потому что это не так просто шестерых уложить, особенно в обороне. А кто он — не знаю. Через мои руки столько оружия разного проходит, что ум за разум зайдет, коль вспоминать начнешь. Может, ранен тот боец, а может, и убит: тут зимой тяжелые бои были.

Я и сам видел: тяжелые. Срезанные снарядами макушки деревьев, расщепленные стволы с вывороченной древесиной и обгоревшими сучьями воспринимались мной как тяжело раненные солдаты, которым уже никогда не вернуться в строй. Лес был изрыт траншеями, на каждом шагу попадались глубокие, как раны, воронки, наполненные талой водой, подернутой изумрудной цветью.

Во второй половине дня нас отвели на позицию. Я и Витька попали в одно отделение.

Пройдя километра три — где в рост, а где ползком, — мы очутились в окопе, среди тех, с кем нам предстояло воевать. Это были люди в годах — народ рассудительный, уверенный в себе. Они ничем не выявили своего любопытства — любопытствовать им не позволял их возраст. В окопе, из стен которого выкатывалась выпуклыми блестящими бусинками вода, находились три солдата. Окинув нас взглядами, в которых сквозь кажущееся равнодушие все же проскользнул живейший интерес к нашим персонам, старички, как мысленно окрестил я их, продолжали заниматься своими делами. Один из них — крепыш с мясистым носом, сидя в нательной рубашке с завязочками, придававшими ему несколько легкомысленный вид, подшивал к гимнастерке подворотничок, другой — длиннолицый, костлявый — грыз с унылым видом сухарь, макая его в кружку с помятыми боками, третий — с двумя лычками на погонах, командир отделения, как догадался я, — чистил винтовку, поплеывая на грязную тряпицу и любовно проводя рукой по ложу трехлинейки.

— Родом откуда, хлопцы? — спросил нас младший сержант, когда мы осмотрелись.

— Я из Москвы, — сказал я.

— Из самой? — В голосе младшего сержанта прозвучал неподдельный интерес.

— Из самой.

— Первый раз москвича на войне встречаю, хоть и воюю два года с гаком. С области людей встречал, а с самой Москвы еще не приходилось. — Младший сержант прислонил винтовку к стене окопа, сел подле меня. — Вопрос к тебе имею. Скажи, как на духу, — Сталина видел?

— Конечно. — Я постарался придать себе солидный вид.

— Где?

— На Красной площади. Он во время демонстраций на трибуне Мавзолея стоит.

Старички отложили свои дела. На их лицах появилось ничем не прикрытое любопытство, какое бывает у детей, слушающих сказку.

— А мне не довелось, — с грустью произнес младший сержант. — До войны был в Москве проездом, цельный день возле Кремля ходил, все надеялся — пофартит, но так и уехал не видевши.

Поговорить больше не удалось: в окопе появился еще один солдат — невысокого роста, с двумя орденами Славы

на выпуклой груди, задорно вздернутым, облупившимся от весеннего солнца носом и щетиной на скуластом, продубленном ветром, лице.

— Наше вам,— с ухмылкой произнес солдат и, сдержав с головы пилотку, шутовски раскланялся.

— Набрался? — завистливо спросил младший сержант.

— Ага,— откликнулся солдат.— Комбат поднес. За фрица того самого. Икрыной фриц оказался. К третьей Славе за него представляют. Будем теперь мы, ребята, егорьевский кавалер, как братан мой старший.

И он стал рассказывать, как взял в плен фрица.

По выражению лиц младшего сержанта и его товарищей я определил — они уже слышали это. Понял: солдат повторяет рассказ для меня и Витьки. Рассказывал солдат с комическими подробностями, словно речь шла о чем-то пустяковом. В первое мгновение я так и воспринял его слова, а потом рассудил, что Славу первой степени ни за что ни про что не дадут, что солдат, видать, совершил настоящий подвиг. То, что солдат не хвастал, удивило меня: я на его месте, наверное, не пожалел бы красок и расписал свой подвиг так, что у слушателей захватило бы дух. А он смеется.

— Значит, доволен комбат? — перебил солдата младший сержант.

— Очень!

— Сколько ж он поднес тебе?

— Водки и трофейного шнапса — море было!

— Ну-у?! — не поверил младший сержант.

— Пра-слово.— И солдат стал рассказывать, как хорошо принял его комбат и сколько водки они выдули.

Я почему-то решил, что солдат хочет позлить младшего сержанта. При слове «водка» из груди командира отделения вырывались вздохи и хищно раздувались ноздри.

— Замолчи, Петрович! — наконец, не выдержал он.— А то пополнение о нас невесть что подумает.

— Пополнение? — переспросил Петрович, и в его светлых, совсем не хмельных глазах блеснули искорки.— Где оно, это пополнение? А-а... Вот оно.— Он остановил взгляд на Витьке.— Выходит, этот пацаненок — тоже пополнение?

— Прекрати, Петрович! — младший сержант повысил голос.— Добром прошу — прекрати. А то — доложу!

— Не доложишь,— спокойно сказал Петрович и извлек

из-за спины две фляжки, болтавшиеся у него на ремне.

Младший сержант тотчас схватил кружку — ту, в которую макал сухарь длиннолицый.

— Погодь, погодь,— остановил его Петрович.— Доложишь али нет?

— Будя тебе,— проворчал младший сержант, не сводя глаз с фляжки.

— Мальцам нальем? — спросил Петрович.

Командир отделения покосился на нас.

— Употребляете?

Мы с Витькой помотали головой.

Младший сержант хмыкнул неопределенно, а Петрович сказал:

— Ну и правильно! Ничего хорошего в ней, водке, значит, нету. Это нам, старичкам, без нее скучновато, а вам, молодым, привыкать к ней не след.

Длиннолицый достал из «сидора» банку свиной тушенки и ловко вспорол ее кривым ножом, который подал ему тот солдат, который вначале был в нательной рубахе с завязочками. Теперь он уже надел гимнастерку и держал в руках две кружки, не сводя глаз с фляжки — пузатенькой, как маленький бочонок, вдетой в защитного цвета чехол с пятнами.

Петрович разлил водку в подставленные кружки. Старички чокнулись.

— Ну, чтоб в живых остаться и, значит, до ста лет прожить! — воскликнул Петрович и выпил. Сморщил лицо, понюхал сухарь.— И кто ее выдумал, проклятую! Неприятностей от нее вагон и тележка маленькая, а жить без нее нельзя. Особенно когда в болоте стоишь.

Старички поддакнули и налегли на тушенку. Петрович закусывать не стал.

— Вот ведь какое дело,— задумчиво произнес он.— До войны «казенка» копейки стоила, а теперь кусается. Теперь, чтоб выпить как след, в кармане много-много иметь надо. Но пьют все ж. Иной последнюю рубашку съест, а удовольствие себе сделает.

— Таких людей называют алкоголиками,— вставил я.

— Верно.— Петрович внимательно посмотрел на меня.— Мы,— он показал на себя пальцем,— их, алкоголиков, значит, тоже не уважаем.

Запрокинув голову, младший сержант вылизал из кружки последнюю каплю.

— Давай, Петрович, еще по одной!

— Нельзя. Слышал, что пополнение сказало?

— Пацанчики! — Младший сержант выразительно взмахнул рукой. — Разливай.

— Вторая «НЗ», — произнес Петрович.

— Какое такое «НЗ»? — забеспокоился младший сержант. — Разливай, и все тут!

— Выпил маленько, и будя.

Командир отделения стал уговаривать Петровича «раздавить фляжку, чтоб она глаза не мозолила».

— Не нуди, мать твою! — отрубил Петрович.

«Смелый мужик», — решил я. Отбрей-ка я так в учебном полку какого-нибудь ефрейтора — на «губу» тотчас б. А тут все по-другому, тут проще. Командир отделения вместе с солдатами пьет-ест, а не за отдельным столиком, как в учебном полку. Тут все одной меркой мерены, потому что фронт тут и смерть над всеми одинаково ходит и уж коль вздумает взять к себе — не обессудь! Вон их сколько, братских могил на русской земле пораскидано. Сюда ехал — видел. В лесах и на пригорках, возле дорог, в полях дыбятся эти холмики с пробивающейся на них травой-муравой. Никто — сама природа украсит к лету эти холмики, когда трава-мурава превратится в полевые цветы — в лютики-колокольчики. Это уже потом, после войны, поставят на братских могилахobelisks, памятники — солдат с склоненными головами, касками в руках. Застынут около братских могил в почетном карауле пионеры, горны будут трубить, напоминая живым о павших — о тех, кто жизнь отдал за русскую землю, за самую прекрасную землю на свете.

Солнце неожиданно вынырнуло из расступившихся облаков и покатилося к краю неба — туда, где смутно виднелись немецкие блиндажи.

Петрович достал из вещмешка осколок зеркала, приладил его у котелка и стал бриться. Он сдирал щетину бритвой-самоделкой и крыл почем зря военторг, в котором-де, окромя безделушек разных, ничего путного нету.

Покончив с бритьем, освежился трофейным одеколоном и сказал, обратившись ко мне:

— Слышь-ка, парень, сапоги себе в бою добудь. Поновой сымай. Без сапог нельзя — болото. Завтра, бог даст, сапогами обзаведешься, не убьют если. Завтра бой будет.

— Завтра? — удивился я. И, желая показать, что я парень не промах, добавил: — А может, послезавтра?

— Может, и послезавтра, — легко согласился Петрович. — Но скоро. Это уж точно. Во-первых, вас пригнали — дополнение. Во-вторых, начальства тут вечер понаехало страсть сколько. Сам комдив был. Вон ту высотку брать будем. — Петрович выглянул из укрытия и показал на зеленевшую вдаль высотку, опоясанную колючей проволокой и залитую лучами заходящего солнца.

В стороне от высотки, притулившись к реке, стояла деревенька дворов на двадцать, почерневшая от пожаров и, казалось, вымершая. Отчетливо виднелись остовы больших деревенских печей, возвышающихся среди развалин — обгоревших бревен, вывороченных с корнями яблонь, мусора. Я глядел на все это и чувствовал огромную, не сравнимую ни с чем боль.

— Глянь-ка, кошка! — неожиданно воскликнул Витька.

Я посмотрел, куда показывал он, и увидел кошку — обыкновенную серую кошку, крадущуюся по бревну.

— Она давно живет тут, — сказал Петрович. — Одна во всей деревне. А людей нет. Каких поубивало, а какие сами ушли — от греха подальше. От всей деревни кошка осталась.

Витька глядел на кошку, полуоткрыв рот, вытянув шею, улыбаясь, и я подумал, что кошка, должно быть, напомнила ему дом или еще что-нибудь очень хорошее. Я так подумал потому, что эта облезлая кошка и мне напомнила наш обсаженный липами московский двор, по которому разгуливали такие же кошки. Я вспомнил мать, Зою, и защемило в груди.

— Сколько таких деревень позади нас и впереди еще, — задумчиво произнес Петрович.

«В самом деле — сколько?» — подумал я. Вот за эту деревеньку и за другие такие же неизвестные мне деревеньки я буду драться. И драться надо так, чтобы не отступить, чтобы завтра же отбить деревеньку.

Я сказал об этом Петровичу. Он обозвал меня салагой.

— Высотка-то, соображай, господствующая, — объяснил он. — С нее все, как на ладошке, видать. Второй месяц бьемся за высотку и все никак не возьмем. Наш ротный раз по десять на день ее биноклем щупает.

Младшего сержанта разобрало, он стал придирается ко мне и Витьке, что-то бубнил.

— Отцепись от них! — прикрикнул на него Петрович. — Пусть отдохнут пацаны. Завтра им придется хлебнуть.

— Все хлебнем, — бормотнул младший сержант.

Петрович отвел меня и Витьку за выступ, вдававшийся в окоп, и, показав на еловые ветки, сказал:

— Легайте тут, пацаны. Утро вечера мудренее.

Я лежал лицом вверх, заложив руки за голову, и смотрел, как меркнет небо, теряя свою голубизну. Голубизна уступала место пепельной расцветке, обволакивавшей все вокруг. Пахнувшая землей сырость и прохлада, струившаяся сверху, пропизывали меня до костей. Я старался не думать о предстоявшем бое, хотя не сомневался, что он будет, и будет скоро, может быть, даже завтра, но страха, который охватил меня утром, уже не испытывал. Страх куда-то пропал, исчез бесследно. Казалось, я лежу в поле — тихом и нестрашном, и нет никакой войны.

На небе высыпали звезды. Витька спал, прижавшись ко мне, и от него шло живое тепло. «Он похож на мальчишку, а не на солдата», — лениво подумал я и решил, что никогда и никому не дам Витьку в обиду.

Та-та-та-та... Где-то там, у немцев, замолотил пулемет, по небу понеслись, догоняя одна другую, трассирующие пули. Это тоже не вызвало страха — пули летели не в нашу сторону, а на левый фланг — туда, где начинался осиновый подлесок, вклинившийся в нейтральную полосу.

— Психуют, гады, — сонно пробормотал Петрович.

Младший сержант что-то ответил, но что, я не разобрал.

Глаза смыкались. Я повернулся на бок и подумал: «А мама и Зоя, наверное, даже не подозревают, что я уже на фронте».

С мыслью о Зое я уснул...

Проснулся я от воя пролетающих, казалось, над самой головой снарядов. Они пронеслись с неприятным, рассекающим воздух свистом. Спросонья померещилось, что снаряды летят прямо на меня. Сердце екнуло, но я тут же

понял, что это наши снаряды и что летят они на высоту. Я вскочил, выглянул из окопа. Коричневая земля, смешанная с пороховым дымом, поднималась над высотой, застывала на мгновение в воздухе и обрушивалась вниз, где притаились немецкие блиндажи, скрытые деревьями и кустарником.

— Молодцы артиллеристы! — громко сказал я и выругался: мне хотелось обратить на себя внимание, показать всем отсутствие страха.

Выругавшись, я посмотрел на старичков. Никто из них даже не взглянул в мою сторону, и только Петрович погрозил мне пальцем. Почему-то стало стыдно.

Витька стоял около меня, как привязанный, и это начинало раздражать и злить меня: мне казалось, что я, длинный, и он, коротышка, должно быть, выглядим со стороны смешно. Мне не хотелось, чтобы сейчас, в этот ответственный для меня день, кто-нибудь засмеялся над нами.

Беспокоился я напрасно: на нас никто не обращал внимания, все смотрели на высоту, похожую на проснувшийся вулкан, и переговаривались вполголоса.

Вставало солнце. Небо за нашим окопом слегка порозовело, налилось красным цветом и стало, как опухоль. Я подумал, что во время атаки солнце будет слепить немцам глаза, обрадовался этому.

Младший сержант достал кiset, стал неторопливо сворачивать «козью ножку». Старички последовали его примеру, и вскоре над нашим окопом поплыл синеватый дымок, похожий на туман.

— Неужто опять не возьмем? — ни к кому не обращаясь, словно рассуждая вслух, проговорил младший сержант и ловко перекинул окурочек через бруствер.

— Должны взять, — сказал Петрович. — Вечор у комбата слышал: «тридцатьчетверки» прикрывать нас будут.

Артподготовка кончилась. Несколько секунд стояла зловещая тишина, взвинчивающая нервы, а потом в небо пошла-побежала, оставляя за собой дымный шлейф, зеленая ракета. Почти тотчас откуда-то слева, куда ночью устремлялись трассирующие пули, прозвучал свисток.

Наш взводный, молоденький лейтенант в повенских

погонах, при новенькой планшетке, свисавшей у него до колен, выскочил из окопа, обрушив землю, и, шаря рукой по кобуре, тоже новенькой, крикнул хрипло:

— За мно-ой!

Петрович ловко перевалил через бруствер, кинув на меня и Витьку тревожный взгляд.

Я вылез, перепачкав колени, и побежал за Петровичем, перепрыгивая, как и он, с кочки на кочку, чувствуя, как пружинит под ногами насыщенная влагой земля.

Витька бежал медленно, неумело держа чересчур длинную и тяжелую для него, недомерка, винтовку. Нас стали обгонять.

— Поднажми! — прохрипел Петрович.

Мы нажали и побежали все вместе, одной кучей, ощущая запах пота и слыша дыхание друг друга.

«Сейчас ка-ак жажнет!» — подумал я.

— Рассредоточься! — крикнул взводный, оглянувшись назад.

Взвод рассредоточился, образовав цепь, и мы, человек двадцать — двадцать пять, устремились к высоте, как одна волна, упругая и сильная.

Наш взвод шел в атаку крайним справа, чуть поотстав от других взводов. Мы приближались к опушке низкорослого осинового перелеска. Когда до перелеска осталось метров сто, из него выскочили две «тридцатьчетверки». Срезав угол, они круто развернулись и поползли к высоте, прикрывая нас своей броней.

Было тихо. Только лязгали гусеницы да чавкала под ногами топь. В нас никто не стрелял, и я подумал, что атака не так страшна, как об этом рассказывают. И только подумал так, как — взжжик! — над моим ухом проныла пуля. Моя голова инстинктивно дернулась вбок, и я с ужасом почувствовал, как меня снова опутывает страх — тот самый страх, от которого я, казалось, избавился навсегда.

Взвизгивали пули. Я бежал, пригнувшись, вобрав голову в плечи, борясь с искушением броситься на землю, прижаться к ней, слиться с ней. Я, возможно, так и поступил бы. Но все бежали. Бежал и я, удавляясь лишь тому, что никто не кричит «ура», все трамбуют ватообразную, похожую на студень землю молча, сосредоточенно, словно исполняют тяжелую работу. Я подумал, что надо обязательно крикнуть «ура», как об этом пишут в книгах и показывают в кино.

— Ура-а-а! — Мой голос прозвучал одиноко, неуверенно.

До высоты оставалось совсем немного, когда забрехала с нее, словно пес, пушка-скорострелка и заухали минометы — все, что уцелело от артналета. Наш взвод стал нести потери: упал один, другой, третий.

Громыхнуло сзади. В нос ударил кислотавый пороховой смрад. Воздушная волна толкнула меня в спину, и несколько комьев мокрой земли упало мне на каску. «Вот оно», — подумал я, но не почувствовал никакой боли и понял, что на этот раз все обошлось.

— А-а-ааа... — Витька побледнел и ринулся назад.

— Куда, мать твою? — Младший сержант сцапал его и крутанул, словно в землю хотел ввинтить. — Под трибунал хотишь, паршивец?

Спотыкаясь, Витька снова побежал к высоте, широко раскрыв остекленевшие от ужаса глаза. Он бежал чуть впереди меня. Я видел Витькины ботинки с налипшей грязью и старался догнать его. Неожиданно Витька сделал несколько неуверенных шагов и, выпустив из рук винтовку, ткнулся головой в землю, подобрав под себя тощие, перевитые обмотками ноги.

Я остановился и тупо посмотрел на него.

— Готов! — сказал Петрович.

«Готов», — повторил про себя я, еще ничего не понимая. И тут же, когда смысл этого слова дошел до меня, бросился к лежавшему в неестественной позе Витьке.

— Посля, посля, парень! — сердито проговорил Петрович и легонько подтолкнул меня вперед.

Задыхаясь от тяжелого бега, сглатывая горькую слюну, я хотел сказать ему, что ведь это же Витька, что это парень, с которым я ехал в одной теплушке, с которым еще вчера пил из одной кружки чай, по-братски разделив последний кусок сахара, выданный нам на три дня вперед. Но вместо слов вырвался глухой всхлип.

— Посля, посля, парень! — повторил Петрович и махнул рукой, показывая на высоту.

Я взглянул последний раз на Витьку и, ничего не соображая, побежал вперед. Может быть, от дувшего мне навстречу ветра, а может быть, от чего другого, но мой мозг прояснился, и я с ужасом подумал, что в сущности ничего не знаю о Витьке, потому что познакомился с ним только в теплушке, что он в моем представлении навсегда останется слабым парнишкой, полуробенком.

Неожиданное ожесточение овладело мной. Наверное, пальцы, сжимавшие винтовку, побелели у меня в тот момент. Но я ничего не видел, ничего не чувствовал. «Сволоочи! — шептал я жесткими губами. — Ах, сволоочи». И бежал вперед, неотрывно глядя на высотку. Легко обогнал прокричавшего мне что-то Петровича.

Танки ударили по немецким блиндажам прямой наводкой, а мы устремились сквозь проходы, проделанные в колючей проволоке, на ее крутой склон. И тут я увидел долвязого, чуть сутуловатого фрица. Его ноги в сапогах с короткими голенищами скользили, изредка он оборачивался, и тогда автомат начинал плясать в его руках — немец стрелял.

«Ах, сволочь, ах, сволочь». — Я не сводил глаз с этого фрица.

Расстояние между нами сокращалось. Мы оба что-то кричали. Он, должно быть, от охватившего его страха, а я от азарта, от бушующей во мне злости. Я уже видел веснушки на шее фрица, острые лопатки.

«Еще чуть-чуть», — подумал я и рванулся вперед. В это время что-то грохнуло рядом. Перед глазами завертелись красные, синие, желтые круги.

Я почувствовал, как меня тянет к земле, как трудно стоять на ногах.

Перед глазами промелькнули мать, Зоя, и все исчезло...

Очнулся я в шатре. Надо мной то вздувался, как парус, то провисал брезент. На стене дергался «зайчик» — солнечный луч проникал через щель в небольшом оконце, защищенном марлей. Слева и справа стояли аккуратно заправленные койки. Остро пахло йодом и какими-то лекарствами.

Я ничего не мог вспомнить. Поташнивало и звенело в ушах. Звон был надоедливый, как зуммер. Я помотал головой, чтобы избавиться от этого звона, и потемнело в глазах. Потом, как будто из небытия, снова нечетко проступили опрятные койки, дергающийся «зайчик», защищенное марлей оконце. И память неожиданно высветила то, что произошло. Я увидел осиповый перелесок, «тридцатьчетверки», убитого Витьку, Петровича, сутуловатого фрица. И никак не мог понять — убил его или нет.

Все это то виделось отчетливо, то казалось размытым. Тупая боль в голове мешала сосредоточиться.

Приподнялся полог. В шатер внесли носилки, до половины накрытые простыней. Я узнал Петровича. Увидел культю, толсто обмотанную бинтами, и испугался. Хотел крикнуть, но не смог. Испугался еще больше, привстал и замычал.

— Успокойтесь, больной,— сказала ласково сестра.

Её голос донесся откуда-то издали, словно в моих ушах была вата. Я понял с ужасом, что не только потерял голос, но и оглох. Это так потрясло меня, что я вскочил с койки.

Сестра что-то сказала санитару, усатому дядьке в куцем — выше колен — халате с пятнами крови, а сама умчалась.

— Ша,— сказал санитар, и его длинные, прямые усы грозно шевельнулись.

Я попытался объяснить ему, что на носилках не кто-нибудь, а Петрович, но санитар сгреб меня, уложил, придал к подушке.

Не снимая рук с моих плеч, снова шевельнул усами:

— Не балуй!

Я бился под его руками, мычал.

Появилась сестра со шприцем. Приговаривая что-то, она сделала мне укол. Я заснул.

Проснувшись, сразу вспомнил: тут Петрович. Скосил глаза и встретился с ним взглядом.

— Отдохнул, браток? — спросил Петрович. Его голос прозвучал приглушенно. Показалось: спрашивает он шепотом. Я хотел ответить «да», но не сумел.

— Эка беда! — сказал Петрович. — Ничего, браток, отойдет. У нас в прошлом годе тоже контузия была: пять дней и ночей ни бе ни ме, а потом — отошло. И у тебя отойдет.

Мне хотелось выразить признательность Петровичу, и я стал жестикулировать, издавая мычание.

— Молчи, браток, молчи,— забеспокоился он.— Тебе нельзя говорить. Завсегда, когда полегчает, на разговоры тянет. Но ты молчи — мы говорить будем.

Петрович шумно вздохнул. Одеяло на его груди поднялось и стало медленно оседать, словно проткнутая иглой футбольная камера.

— Культия у нас, браток, болит — спасу нет и курить

охота. Плохо без курева! Все начисто сестры выгребли — хошь бы на закрутку оставили. Не понимают они, что солдату без табачку скушно. А нам, браток, тем боле. Нам, браток, любая гарь привычна, потому как кузнецы мы. С-под Тюмени. Село Богородское, слышал, может? Большое село — восемьсот дворов. Нас, Соцкова-кузнеца, там все знают.

Петрович завозился на койке, устраиваясь поудобней, поправил пододеяльник. Пружины под ним заскрипели жалобно и тонко. Скрип был слабым, как комариный писк. Я тоже поерзал, почувствовал, как «ходят» пружины, но скрипа не услышал и решил, что, несмотря на маленький рост, Петрович тяжелее меня. И почему-то позавидовал ему.

— Хотим мы, браток, нашу жизнь тебе рассказать, — продолжал Петрович. — Не возражаешь?

Я помотал головой: не возражаю, мол.

— Спасибо, браток! — обрадовался Петрович. — Наше дело теперь такое — время гнать. За разговором оно, глядишь, быстрее пойдет... Жили мы, браток, до двадцать пятого года при родителе, при отце, значит. Одних детишков в нашем доме девять душ было. Трое — старшего брата, который егорьевские кресты имел, двое — другого, остальные — сестрины: ее муж, батрак бывший, в наш дом примаком вошел. Я в ту пору еще не женатым был, хотя мне и шел двадцать осьмой годок. Родитель каждую осень свое заводил: «Женись!» — а я не торопился, хотел по сердцу бабу взять. Хозяйство у нас обыкновенное было: корова (ее Машкой звали), рыженькая такая, на вид — смехота одна, а доилась — лучше не надо. В молоке мы, можно сказать, купались. Если бы не молоко... — Петрович вздохнул. — Окромя коровы, подсвинок был, три овцы, шесть курей и петух. Петух, доложу тебе, королем выглядел. Из себя здоровенный, росту без малого аршин, перья всех расцветок и все с отливом, гребень, что корона. И ходил важно, как, должно, короли ходят. К нашим курам соседских петухов и близко не подпускал, а сам топтал чужих. Соседским петухам это, конечно, не нравилось, нападали они на него скопом, но он их всех разгонял, хотя иной раз и ему доставалось. — Петрович улыбнулся: видно, вспомнил гуляку-петуха. — Хорошие деньги нам за него предлагали. Жена брата старшего совет давала — продать, а родитель — ни в какую! И правильно делал, что не продавал, потому как петух тот такой один был на всю

округу. Да что там на округу — на весь мир один! Хошь верь, браток, хошь нет, но других таких петухов я больше нигде не встречал.

Петрович замолчал и молчал долго. Я решил, что он заснул, повернулся к нему лицом. Петрович шевелил губами, двигал белесыми ресницами, будто разговаривал сам с собой. Встретившись с моим взглядом, виновато улыбнулся:

— Извиняй, браток, задумался... К Советской власти наша семья — с полным сочувствием, потому как понимали мы, что власть эта наша, рабочая, значит, и крестьянская. Братан старший в комитете бедноты верховодил. Мироеды его боялись: братан контузию имел и чуть что за наган хватался. Не знаю точно, выдали ему наган или он сам его присвоил, только братан всегда при нагане ходил. И с егорьевскими крестами на груди, хотя те кресты новая власть не признавала. Но братан несогласный с этим был, говорил открыто, что кресты он в бою заслужил, что они ему за храбрость дадены. И не сымал их. Попадало ему за непослушание, но он, братан, значит, упрямым был.

Голос Петровича доносился до меня приглушенно, словно его койка стояла в другом конце шатра. Я напрягал слух. Голова раскальвалась, и стучало в висках. К горлу подступала рвота. Я закрыл глаза, пытаюсь освободиться от неприятного ощущения, и услышал:

— Заморился, браток? Если так, то сосни — сон от любой хвори лечит.

Мне хотелось дослушать Петровича, и я показал жестом, чтобы он продолжал.

— Сейчас, сейчас, — заторопился Петрович. — Но если лихо станет, знак дай.

Я кивнул.

— Вот так, значит, и жили мы, — снова начал Петрович, — не шибко богато, но и не бедно — как все в то время. С голоду не помирали — и ладно. А время, сам соображай, браток, трудное было — Советская власть только силу набирала. В глухих уездах банды лютовали, наши мироеды головы поднимали, когда слух доходил про убийство активиста или комсомольского секретаря. Братан старший голос на сходках срывал, наганом грозил, а мироеды ухмылялись в усы. Знали паразиты: если пальнет братан — крышка ему, потому как своевольничать никто не имел права. Родитель хотел отобрать наган, чтоб, значит, от

греха подальше, но братан ему не подчинился. Первый раз в жизни голос на родителя поднял, сказал ему, что он, родитель, несознательный алимент и еще что-то. Я тогда это в одно ухо впустил, а из другого выпустил, потому как жениховался уже, но покуда не объявлял об этом, встречался с Глашей скрытно, за гумном — там роща была, по ней ручеек тек с такой водой, что скулы сводило. Родитель и братья зубья скалили, думали, что я по ночам к бабам-солдаткам шастаю, а я молчал — не хотел раньше времени открываться.

Петрович пошарил под подушкой в поисках кисета, снова ругнул сестер, отобравших курево, и продолжил дрогнувшим голосом:

— Осенью это случилось, без года двадцать лет назад. Дожди еще не начались, но ночью уже холодно было — впору тулуп надевать. Возвращались мы в ту ночь с Глашей в село. Вышли на гумно — пожар. Ночь звездной была, светлой. Искры, показалось, до самого неба долетали. Глаша в конце села жила, а мы в самой середке. Понял я — горим. Крикнул Глаше: «Народ кличь!» — и к избе. Как косою бег — дороги не разбирал. Прибег — вся изба в огне. На дороге братан старший лежит — с наганом в руке. Припал к груди ухом — мертвый. Другой братан своих детешков из огня таскал. Сестрин муж этим же делом занимался. Бабы голосили, как на похоронах. Только хотел в избу кинуться, чтоб, значит, родителя и родительницу вынести, — рухнула крыша. — Петрович провел рукой по лицу. — И родитель, и родительница, и братан средний, и сестрин муж, и племяши — все там остались. Только бабы уцелели и три мальчика... Утром милиция приехала. Десять ден в селе пробыли, но дознались, кто красного петуха нам пустил и брата старшего угробил. К расстрелу приговорили мироедов. Двух сразу взяли, а за другими полгода гонялись — они в тайгу ушли. О том, что поймали их, я потом узнал, с писем. Мы с Глашей вскорости после пожара поженились и уехали с села. Спервоначала на лесосплаве работали, потом завербовались на строительство в город Магнитогорский. Два раза поносом болели, по-научному тифом брюшным, но деньгу взяли. Все там было в городе Магнитогорском: холод, голод, вши, но деньги сами в руки лезли — работай только, не ленись. Отработали, сколь полагалось, и вернулись в родное село, в Богородское, значит. На месте, где изба наша стояла, бурьян рос и головешки валялись. Сестра

к тому времени в город перебралась, уборщицей работала, племяши в школу ходили. Жены братанов в другие села переехали. Поставили мы с Глашей новую избу, я по кузнечному делу стал.—Петрович чуть приподнялся.—Культа кузнечному делу не помеха, а, браток? Кузнецом и безногим можно, так ведь? В крайнем случае табурет возле горна приладим и, если мелочь какая, сидя скуем.

Петрович мог бы не работать — ему полагалась теперь пенсия. Но он и не заикнулся о ней, думал о работе. Это произвело на меня большое впечатление.

— До самой войны кузнецом я был,— снова заговорил Петрович.— А как война началась — в военкомат побег, хотя и имел по возрасту отсрочку. Жена, конечно, вой подняла, но я характер проявил. Она сейчас с сыном живет, он еще малец, осенью только пятнадцать исполнится. А дочь на фронте. Телефонисткой в штабе работает. Пишет: «Все, отец, у меня хорошо». Знаю — успокаивает. Она у меня самостоятельная и характером вся в меня. Племяши тоже воюют. Один в госпитале сейчас, другой, бог даст, до Берлина дойдет. А третьего не взяли — хилым оказался. Он сейчас в городе на военном заводе работает... А культя побаливает.— Петрович поморщился.— Отвоевался, выходит. Жена писала: приезжай хоть без ноги. Накаркала, глупая баба! — Встретившись с моим взглядом, сконфузился.— Это мы так, браток, к слову. Глаша моя башковитая женщина — лучше не надо. Почти два десятка годков прожил с ней в мире и согласии. И еще столько же прожить собираюсь.

Я все ждал, когда Петрович назовет меня пацаном и тем самым подчеркнет ту грань, которая отделяет его, бывалого солдата, от новобранца. Но Петрович упорно называл меня братком, и это льстило мне: слово «браток» стирало — так казалось мне — все грани, ставило меня в один ряд с ним.

— Крепко осерчал народ наш на германца, злой стал,— сказал Петрович. Его глаза блестели, щеки воспалились: видимо, подскочила температура.— Взять хоть бы тебя. Когда мальчика, с которым ты к нам прибыл, убило и слезу ты пустил, грешным делом подумал я: какой с него вояка? А потом гляжу: бегишь, а на лице — злость. Ничего, браток, солдатом будешь. А там, глядишь, и войне конец.— Он помолчал.— Рассчитываю, к будущему лету кончится.

«Навряд ли,— решил я.— Три года назад тоже гово-

рили: скоро, скоро, а получилось — воюем и воюем. И до госграницы еще далековато — километров двести с гаком».

Словно прочитав мои мысли, Петрович произнес:

— Верно говорю — недолго осталось. Самое поганое позади. Теперь не мы, а они пятятся. Жена отписывает: по радио слышно, как в Москве из пушек палят, — салютуют в нашу, солдатскую честь.

Еще до ухода в армию я видел салюты — расцветенные ракетами небо, вспомнил: на душе в эти минуты становилось празднично.

— Помяни мое слово, — сказал Петрович, — еще чуток, и наш фронт вперед двинется. Та деревня, где нас с тобой свалило, — начало.

«Хорошо бы», — подумал я.

Петрович повозился на койке, вздохнул и добавил: — Соснуть надо — глаза смыкаются...

Вечером у меня прорезался голос.

— Го-о-ло-ва бо-о-лит, — пожаловался я сестре.

Завкался я сильнее капитана Шубина. Решил, что навсегда останусь запкой, и расстроился. Даже от ужина отказался.

— Эка беда! — сокрушался Петрович. — Съешь-ка хоть котлетку, браток. Вкусная! — Он отправил в рот полкотлеты и зажмурился, показывая, какая она, котлета, вкусная.

Я лежал, уставившись в одну точку. На вопросы не отвечал. Такое состояние продолжалось часа два, а потом ударило в голову.

— У-у-убе-гу! — воскликнул я и вскочил с койки.

— Погодь, погодь, — заволновался Петрович. Приподнявшись, крикнул: — Сестречка!

Мне тотчас сделали укол...

Через пескотько дней Петрович сказал:

— А высотку-то, браток, бают, взяли. Давеча, пока ты спал, Митрохин приходил — тот, что справа в окопе сидел. Запомнил его?

«Длиннолицый», — догадался я.

— В мякоть его садануло, — продолжал Петрович. — Убечь решил с медсанбата. Я бы тоже убег, кабы не нога.

Митрохин баил: младшего сержанта тоже поранило. В беспамятстве пока. Вон она, война-то! Сколь людей перемолола, сколь перемелет, покуда мы до Берлина дойдем.

Поднялся полог. В шатер хлынул поток солнечного света. В сопровождении эскорта вошла красивая врачиха в платье с глубоким вырезом, в лакированных туфлях на высоких каблуках, в небрежно наброшенном халате. Несмотря на платье, все называли врачиху «товарищ майор». Эскорт расступился, пропуская ее ко мне. «Видать, важная птица», — решил я.

— Как себя чувствуешь? — спросила врачиха, остановившись возле меня.

Я не ответил. Я не сомневался, что врачиха уже прочитала «историю болезни» и знает мое состояние. Эскорт заволновался. Дежурная сестра шепнула:

— Невропатолог это. Из армейского госпиталя.

«Плевать!» — Та почтительность, с которой эскорт обращался к врачихе, раздражала меня.

— Какой сердитый! — Врачиха улыбнулась, присела на край койки. Ее упругое бедро коснулось моего тела, я ощутил запах дорогих духов. Когда врачиха наклонилась, увидел в вырезе платья круглые груди. Они уютно и тесно лежали там, напоминая маленькие, спелые дыньки. Сердце учащенно забило: «Как прекрасно, что я остался живым!»

В хорошем настроении я пребывал до самого вечера. После ужина сестра сказала:

— Собирайтесь, Саблин!

— Э-зачем?

— Эвакуируют вас.

— К-куда?

— В тыл поедете.

— А-а, ка-ак же он? — Я взглянул на Петровича.

— Его через несколько дней.

— Хо-очу вместе.

— Нельзя!

— Хо-очу!

— Не волнуйся, браток, — заговорил Петрович. — Ехай спокойно. Придет черед, и меня отправят. А ты поправляйся! После войны — в гости приезжай. Адрес простой: Тюменская область, село Богородское, Соцков-кузнец. Невесту тебе сыщу. Невест у нас — тыщи.

Я стал прощаться. Сестра поторапливала, а я бормотал что-то, бормотал...

Госпиталь, в который привезли меня, находился на окраине города, еще не ставшего областным центром, несмотря на то что он имел заасфальтированные улицы, кинотеатры, клубы, пятиэтажные дома — все то, что отличало областные города от районных.

Окраина города, где был наш госпиталь, называлась Дуриловкой. Такое название эта окраина получила лет шестьдесят назад, когда на пустыре «вдали от шума городского» была построена лечебница для душевнобольных. Она состояла из четырех одноэтажных корпусов, сложенных из красного кирпича, и маленькой часовни. На территории был фруктовый сад, приносивший огромный доход владельцам лечебницы: яблоки, груши, сливы и прочие фрукты собирали больные, не получавшие за это ни гроша.

Вскоре после лечебницы городок обзавелся текстильной фабричкой, население увеличилось, одноэтажные домики с палисадниками приступили к самой стене, тоже сложенной из красного кирпича: она опоясывала лечебницу, делала ее похожей на крепость.

После революции профиль этой больницы не изменился: в нее по-прежнему свозили самых безнадежных — тех, кого «выписывали» только на погост.

Около месяца город был под немцем. Эвакуировать больных не успели: никто не думал, что враг придет сюда, в этот тихий город. Когда наши покинули город, а немцы еще не вошли, оставленные без присмотра больные разбрелись кто куда. В серых байковых халатах, полинявших от стирок, голодные, обросшие щетиной, они бродили по улицам, пугая обывателей. Немцы переловили всех больных, погрузили их в автомашины с высокими бортами, в которых перевозят скот, и отправили куда-то. Все понимали: ничего хорошего произойти с этими людьми не могло — немцы отправили их не на курорт, но что произошло, никто не знал.

Я прибыл в госпиталь в конце мая, когда «отцветали яблоны и груши». Вся территория бывшей лечебницы была покрыта белыми лепестками, похожими на первый, только что выпавший снег. Узкие, высокие окна были распахнуты, в палаты вливался воздух, наполненный запахами весны — теми запахами, от которых кружится голова и жизнь кажется прекрасней, чем она есть на самом деле.

Вечером, после ужина, если не было кино, я выходил в сад. Я не прочь был полакомиться кислотоватыми плодами. Желание полакомиться подогревалось еще и тем, что «рубать» зеленые плоды нам не разрешали: они вызывали расстройство желудка, причиняли дополнительные хлопоты немногочисленному персоналу госпиталя.

Больше других плодов мне нравились чуть вяжущие рот яблоки, которые росли под окном кабинета начальника госпиталя. Ночью на этом окне висела штора, сквозь которую скупо пробивался свет. На белом фоне, словно на экране, вырисовывался силуэт начальника госпиталя. Он работал: что-то писал, брал в руки рентгеновские снимки, подолгу разглядывал их. Его губы шевелились, брови сходились в одну линию. Я смотрел на него и почему-то вспоминал мать. Думал: «Скоро я увижусь с тобой, мама. Здоровье пошло на поправку, я перестал заикаться, на последнем обходе начальник госпиталя пообещал предоставить мне отпуск дня на четыре».

Я очень хотел повидать мать. Но еще больше — Зою. Я чувствовал себя виноватым перед ней: вот уже месяц я встречался с Лидочкой Морозовой — синеглазой блондинкой с пухлым ртом и таким же подбородком. Лидочка работает в аптеке госпиталя и мечтает о театральном училище. Я сказал ей, что учился в щепкинском. Она поверила. Она не сообразила, что в 17 лет я не мог поступить в театральное училище. Многие из нас крутят любовь с работницами текстильной фабрики. Среди них есть симпатичные. Мне часто кажется, что все население этого города состоит из красивых девчат.

Чуть вяжущие яблоки понравились и Женьке Анохину — верткому парнишке с наивными глазами. Я лежал с ним в одной палате. Он попросил показать «вкусную» яблоню.

Я показал.

Когда Женькины карманы распухли от яблок, он подошел к окну начальника госпиталя, постоял несколько секунд и, издав вопль, ринулся в кусты. Я — следом. Оглянувшись, увидел: начальник госпиталя протирал стеклышки очков, его руки тряслись. Стало жаль его. Догнав Женьку, я спросил:

— Зачем ты так?

— Нашло, — пробормотал Женька.

Анохин ранен в голову. На него часто «находит». После этого — припадок.

— Сестра! — кричит кто-нибудь из нас.

Дежурная сестра разжимает Женькины зубы, сует в рот металлическую ложку. Это делается для того, чтобы во время припадка Женька не откусил себе язык. Припадок продолжается минут десять, после чего Женька становится вялым, задумчивым. Неделю ведет себя нормально, а потом снова отчибучивает что-нибудь. Нам надоело возиться с Женькой, и мы попросили начальника госпиталя перевести его в другую палату, где лежат такие же, как он. В других палатах не оказалось свободных мест. Поэтому нам все время приходится быть начеку: вдруг Женька чудить начнет? Мы понимаем, что чудит Женька не по своей воле, но это угнетает нас. Когда Женька брякается на пол и на его губах появляется пена, мы невольно думаем о том, что каждый из нас мог бы очутиться на его месте.

Кроме Женьки, в одной палате со мной лежат еще двое — Петька Зайцев и Лешка Ячко.

Зайцев мне не нравится. Он ни с кем не дружит. Валяется день-деньской на койке: то ли думает, то ли просто бока пролеживает. По его одутловатому лицу ничего нельзя определить: на Петькином лице всегда сонное выражение. Анохин часто донимает Зайцева, подтрунивает над ним. Петька молчит. Когда Женька уходит, произносит, выпячивая губы:

— Вот же придурок!

— Чего ж ты при нем молчишь? — спросил я.

— Анохин — припадочный, — объяснил Петька. — Запросто убить может. Его в сумасшедшем доме держать надо, а не в госпитале.

— Все мы тут такие. — Я покрутил пальцем возле виска.

— Я — нет, — пробасил Петька и отвернулся.

Ячко ни на кого не похож: ни на Женьку, ни на Петьку, ни на меня. Ему 25 лет. Он — женатик. Вернее был им. Перед самой войной жена дала ему от ворот поворот.

— За что? — спросил я.

— Чужая душа — потемки, — ответил Лешка.

Это ничего не объяснило мне, и я подумал: «Жена дала ему от ворот поворот потому, что он — бабник».

Женщины — его слабость. Он рассказывает о них с юмором, с улыбкой на лице, как рассказывают взрослые о детях.

— Женщина для любви создана,— философствует Лешка, полузакрыв глаза.— Без любви женщина как цветок без воды. Мужчины без трали-вали могут, а женщины — нет. Женщина без этого чахнет.

Я с удовольствием слушаю Лешкины байки. Они волнуют кровь, вызывают зависть. Правда, меня немного коробит та легкость, с которой Лешка меняет женщин.

— Нехорошо это,— бормочу я.— Сегодня — одна, завтра — другая.

— Трепотня! — возражает Лешка.— Перед смертью будет что вспомнить. А война все спитет.

Женька называет его везучим, Петька — пакостником. Когда он произносит «пакостник», его губы становятся слюнявыми. «Завидует», — это мое убеждение.

Каждый вечер Лешка убегает в город к своим поклонницам. Когда дежурная сестра гасит в палате свет, он свертывает наши пижамы, придает им форму спящего человека, накрывает их одеялом и — в окно.

Лешка утверждает, что он любит всех женщин, но никого в особенности. Я даю голову на отсечение — врет. Он влюблен в нашего лечащего врача Елену Викторовну, незамужнюю длинноногую женщину. Когда Елена Викторовна входит в палату, Лешка сразу становится серьезным.

Нашему врачу Лешка, должно быть, тоже нравится. Во время обхода Елена Викторовна то и дело поглядывает на него, спрашивает с улыбкой:

— А вы, Ячко, отчего невеселый?

Лешка смущается, что-то бормочет. Когда Елена Викторовна уходит, я спрашиваю:

— Нравится она тебе?

— Красивая женщина,— отвечает Лешка и переводит разговор на другое. Чаще всего на Лидочку.

— Как у тебя дела с ней? — допытывается Лешка.— На мази?

Долгое время я ничего не рассказывал ему, а потом меня прорвало.

— Теленок! — усмехнулся Лешка, когда я кончил.— Она хочет, чтобы ты был посмелее.

— Ну-у... — с недоверием произнес я.

— Точно! Шуруй — и все дела.

— Нельзя.— Я вздохнул.— Она же девушка.

Лешка рассмеялся:

— Она такая же девушка, как моя прабабушка. Понахальнее будь — это женщинам нравится.

До самого вечера я слонялся по саду и думал, думал. Мне и хотелось «действовать», и что-то удерживало меня. Перед глазами все время возникала Зоя. Она то усмеялась, то хмурилась. Я старался не думать о ней, но... Внезапно решил: «Раз Лешке можно, то и мне не надо теряться. Он правильно говорит — война все спитет».

Пошел к Лидочке. Ладони были потными. Сердце то в пятки ныряло, то подгоняло: «Смелей, смелей!» Иногда я ненавидел себя, но шел и шел. Было стыдно, боязно, но...

Лидочки на месте не оказалось. Позвал ее — молчок. «Может, случилось что-нибудь?» Я разволновался, стал искать Лидочку. Бегал и спрашивал:

— Не видали Морозову?

Женька сказал, что она пошла с каким-то парнем к часовне. Я решил: «Разыгрывает!» — но на всякий случай смотался туда.

Женька сказал правду: Лидочка целовалась около часовни с парнем из соседнего корпуса.

— Здравствуй, — пробормотал и почувствовал — краснею.

Лидочка не смутилась. Прижалась плечом к парню и сказала спокойно:

— Между нами все кончено!

Я покраснел еще больше и ушел. Внутри — клокотало. Рассказал обо всем Лешке. И добавил:

— Врезать ей надо!

— За что?

— За... За измену!

— Бить женщин — последнее дело, — возмутился Лешка. — Ты сам во всем виноват. Я же много раз говорил тебе — женщины без трали-вали не могут.

Лидочкина «измена» ударила по самолюбию. Я старался не думать о ней, но не мог. «Дурак, дурак», — бранил я себя. «А вдруг Зоя то же самое сделает?» — предположил я и совсем пал духом. Решил: «Если и Зоя, то пулю в лоб».

Заснуть не мог до тех пор, пока не вернулся Лешка. Он перевалил через подоконник, крадучись, подошел к койке.

Я вздохнул.

— Не спишь? — спросил Лешка.

— Не спится.

— Брось думать о ней. Я тебя с такими девочками познакомлю, что ахнешь. А в этой Лидочке ничего хорошего — глупенькая она.

— Обидно.

— Конечно, обидно, — согласился Лешка. — Но и мы — хороши: обманываем их.

— Ты обманываешь.

— И да, и нет, — сказал Лешка.

— Темнишь?

— Любовь — дело добровольное, — продолжал Ячко. — Я жалею женщин, особенно тех, которые без мужей. Дровишек им наколю, стол или стул исправлю. Женщины радуются, когда в их доме мужским духом пахнет.

— Леш, а они тебя любят по-настоящему?

— Кто как. Карасиха, думаю, любит.

— Кто такая? — Про Карасиху Лешка никогда не рассказывал.

— Есть тут одна, — ответил Лешка. — Мировая женщина, вот только в жизни ей не повезло.

Лешка чиркнул спичкой, зажег папироску. (Я вместо папирос получал дополнительную порцию сахара.)

— Карасиха, сам понимай, прозвище, — объяснил Лешка. — Любка — ее имя. — Лешка затянулся и сказал: — Жизнь этой женщины — сплошная неудача. Родители умерли, когда ей три года было. Воспитывала ее бабка. Работала, старая, не покладая рук, чтобы вывести внучку в люди. Но приключилась беда: заболела бабка и слегла. Пришлось Любке устраиваться на работу. Подружки посоветовали ей сдать старуху в дом престарелых, но она им фигу показала. Жених проявил себя, как стерва. «Решай, — сказал, — я или бабка». Любка послала его на... Стала жить вдвоем с парализованной старухой. А потом — война. Ухажеры ушли на фронт. Любка поняла, что семью ей не составить и начала гулять. — Лешка выбросил окурок в окно. — Но я ее за это не осуждаю.

— Кончай базар! — подал голос Петька. — Цельный час: бу-бу-бу. Спать не даете, черти!

— Не сердись, Петь, — миролюбиво сказал Лешка. Он разделся, юркнул под одеяло. Я повозился на койке и тоже уснул..

Проснулся и услышал: кто-то плачет. Поднял голову: Мария Ивановна, наша сестра, спокойная, добрая женщина лет сорока, вытирает слезы.

Лешка говорил ей:

— Успокойтесь, Марь Иванна. Отольется им это.

Женька прыгал на одной ноге, не попадая другой в штанину. Петька тупо глядел в потолок.

— Что случилось? — спросил я.

Мне не ответили. Лешка налил Марии Ивановне воды. Она отхлебнула и ушла, с трудом передвигая ноги.

— Ну и сволочи! — сказал Лешка, когда за Марией Ивановной захлопнулась дверь. — Если комиссуют, все равно на фронт попрошусь.

— Что такое? — воскликнул я. — Объясните же!

— Не догадываешься?

— Нет.

Лешка помолчал.

— Нашли, наконец, тех, кого фашисты отсюда забрали. Всех больных они вывезли за город и расстреляли. Среди них оказался и муж Марии Ивановны.

Ее историю я уже знал. Эта история никого не оставляла равнодушным. В нашем госпитале все восхищались Марией Ивановной. До войны она жила в другом городе. Там вышла замуж за хорошего парня. Через год родился сын. Муж Марии Ивановны не чаял в нем души и тронулся умом, когда мальчик умер. Мария Ивановна думала, что болезнь скоро пройдет. Но болезнь не проходила. Молодого человека лечили в местной больнице — безрезультатно. Мария Ивановна свезла его в Москву — снова впустую. Медицина, как это иногда бывает, оказалась бессильной, мужа пришлось поместить в сумасшедший дом.

В ту пору Марии Ивановне было двадцать пять лет. За ней многие ухаживали, но она всем отвечала: «Нет!» Когда врачи убедились, что мужа Марии Ивановны нельзя вылечить, его направили сюда, в этот город. Мария Ивановна последовала за ним. Работала, как и раньше, кассиршей в магазине, по вечерам училась на курсах медсестер. Окончив их, устроилась в больницу, чтобы быть поближе к мужу. В минуты прозрения, когда недуг отступал, муж узнавал Марию Ивановну, и эти минуты стали для нее самыми счастливыми. Началась война. Мария Ивановна не уследила, и муж вместе с другими больными сбежал в город. Последний раз она увидела его в грузовике — взлохмаченного, озирающегося. Бросилась к нему. Автомобиль фыркнул и покотил. Она помчалась следом, что-то крича, бежала, сопровождаемая улюлюканьем фрицев, до тех пор пока грузовик не скрылся с глаз. Мария Ивановна понимала, что мужа давно нет в живых, просто

надеялась на чудо. Чуда не произошло. Мария Ивановна узнала обезображенный труп по руке, на которой было выколото: «Маша».

Кровь стынет в жилах, и пальцы сжимаются в кулаки. Развернешь газету: замучены, задушены, расстреляны. Нет семьи, в которой бы не лились слезы. «Смерть за смерть!» — взывают газетные страницы. «Кровь за кровь!» — напоминает голос Левитана.

Прости меня, Зоя, но во время отпуска я не поведу тебя в загс. Мне рано обзаводиться семьей — еще ухают минометы, трещат автоматы, пылают города, плачут дети. Я не хочу, Зоя, чтобы ты осталась вдовой. Долгих-долгих лет тебе! А я еще повоюю.

17

Вечером Лешка спросил:

— Хочешь познакомиться с девушками? Любка сказала: «Всегда — пожалуйста».

Я еще не переварил Лидочкину «измену», мне становилось душно, когда я встречал ее с парнем из соседнего корпуса. «Клин надо выбивать клином», — решил я и сказал Лешке:

— Согласен!

— Ты не теряйся там, — предупредил Лешка. — Женщины любят напористых.

— Ладно, — пробормотал я и подумал: «Авось Зоя никогда не узнает ни о встречах с Лидочкой, ни о знакомстве с Карасихой и ее подругами».

Лешка сказал, что, кроме Карасихи, будут еще две девочки, предложил взять Женьку.

— Жалко парня, — заметил Лешка. — Он все время один и один.

— А вдруг Женька чудить начнет?

Лешка взмахнул рукой:

— Обойдется!

Мы пригласили Женьку. От радости он подпрыгнул и тотчас спросил Зайцева:

— А тебя, Петь, не тянет?

— Отвяжись, придурок! — рявкнул Петька.

В палате наступила тишина. Было слышно, как жужжит на окне муха. Женька побледнел, а Лешка произнес с сожалением:

— Зря ты так.

— А чего он? — Петька плюхнулся на койку. — Цепляется и цепляется, придурок! Ему-то что? Его, как пить дать, комиссуют, а мне опять пулям кланяться и думать: «Пронеси, господи!» Может, моя пуля еще в обойме стынет. А покалечат? Мне без руки-ноги никак нельзя — хозяйство.

— Хозяйство тебе дороже дружбы, — сказал я, чувствуя, как закипает злость.

— Заткнись! — огрызнулся Петька.

Я подошел к нему, расставил ноги:

— По сопатке не хочешь?

Зайцев исподлобья взглянул на меня.

— Хватит, славяне, — сказал Лешка. — Негоже однопалатникам ссориться.

— Сволочь ты, Петька! — неожиданно воскликнул Жецька.

— Что-о?

— А ну, сядь! — Лешка нажал рукой на Петькино плечо, перевел взгляд на Жецьку: — Чудить станешь — не возьмем.

— Не бойся! — Жецька усмехнулся. — Когда я в медсанбате лежал...

Договорить он не успел — в палату вошла Мария Ивановна:

— Поторапливайтесь, ребятки. Завтрак стынет.

Завтракал я машинально — о девчатах думал. Во время обхода тоже они были на уме. Вернулся к действительности только, когда Елена Викторовна сказала:

— Через две недели, Саблин, на комиссию. Повезло тебе — никаких следов не осталось.

— А меня комиссуют или?.. — хрипло спросил Петька.

— Думаю — комиссуют, — ответила Елена Викторовна.

Петька откинулся на подушку. Лешка спросил, устремив взгляд в окно:

— А меня?

— Сами как думаете? — Елена Викторовна внимательно посмотрела на Ячко.

— На фронт хочу! — твердо сказал он.

— Скоро поедете. — Елена Викторовна вздохнула.

— Скорей бы!

— Да? — Елена Викторовна стала печальной. — Разъедетесь вы скоро и забудете нас.

— Нет! — воскликнул Лешка и покраснел.

Елена Викторовна тоже смутилась. Спросила о чем-то и — вои.

— У тебя, Леш, есть шансы,— сказал Жеенька.

— Давай не будем,— ответил Лешка.

Жеенька походил по палате.

— Я бы на твоём месте ей все выложил.

Лешка промолчал.

— Может, намекнуть ей,— предложил я,— так, мол, и так?

— Я тебе намекну! — Лешка погрозил мне кулаком.— Давай подумаем лучше, где нам це дило достать? — он оттопырил мизинец, поднял вверх большой палец.

— Зачем?

— Для разгону. Чуешь?

— Чую,— ответил я, подлаживаясь под Лешкину речь.— Только, где це дило взять?

— Планчик есть.

Лешкин планчик мне понравился — он давал возможность отомстить Лидочке...

— Ни пуха тебе ни пера,— напутствовал меня Лешка, когда мы подошли к аптеке.

— К черту, к черту,— я потянул на себя дверь.

Войдя в аптеку — квадратную комнату, пропитанную запахом лекарств, я увидел Лидочку и оробел. Все наставления повыскакивали из головы.

Лидочка вопросительно взглянула на меня.

«Надо сказать что-нибудь», — подумал я, но не нашел подходящих слов. Я очень волновался, и это, наверное, обозначилось на моем лице. Лидочка улыбнулась. Ее улыбка вернула мне смелость, и я, как советовал Лешка, «выдал» комплимент.

Лидочка удивилась, а я сказал, стараясь говорить развязно:

— Шел мимо. Дай, думаю, зайду.

Лидочка взглянула на дверь с прорезанным в ней окошечком. За дверью стоял Лешка, ожидая «це дило». Морозова попыталась проскользнуть к двери, но я преградил путь, раскинув в стороны руки.

— Чего тебе надо? — спросила Лидочка. В ее голосе были слезы.

— Ничего,— ответил я.

Хоть мы и обговорили детали, я все же плохо представлял, как мне удастся стащить прямоугольный сосуд с надписью «спирт». Лешка посоветовал отвлечь Лидочки-

но внимание и... «Легко сказать — отвлечь», — думал я, стараясь не глядеть на спирт, к которому, как назло, прилипали глаза.

На мое счастье прогудел внутренний телефон.

— Алло? — проворковала Лидочка. — Сию минуту сделаю. — Она бросила трубку. — Ни минуты покоя нет! — Достала какие-то баночки, скляночки и, подойдя к столу, стала готовить лекарство. Воспользовавшись этим, я схватил спирт, сунул его в окошечко. Лешкина рука приняла сосуд.

Для приготовления лекарства Лидочке понадобился спирт. Она взглянула на полку и ахнула.

— Ты чего? — притворно удивился я.

Лидочка подозрительно посмотрел на меня:

— Где спирт?

— Какой спирт?

— Обыкновенный. В бутылке!

Я изобразил на лице непонимание.

— Может, ты взял?

— Я-а?

— Ох, и влетит же мне! — Лидочка всхлинула.

Мне стало жаль Лидочку. И чтобы не признаться в своем грехе, я поспешил уйти.

18

Наступила ночь — одна из тех ночей, которые бывают в августе, на исходе лета, когда начинают опадать листья, предвещая осень — самую нелюбимую мной пору.

Сопровождаемые разноголосым брехом собак, мы шли по улицам погруженного в сон городка. Собачьи голоса передавали нас, как эстафетную палочку, от дома к дому, от улицы к улице. Женька волновался. Заглядывая Лешке в лицо, то и дело спрашивал:

— Красивые девчата, а?

— Увидишь, — лаконично отвечал Лешка.

Я молчал. Я думал о том, что поступаю мерзко по отношению к Зое, ибо каким же другим словом можно было назвать то, что собирался я совершить?

Остановившись возле калитки небольшого домика с палисадником, в котором застыли на тонких стеблях тяжелые георгины, Лешка сказал:

— Прибыли. К Любке, чур, славяне, не мыльтесь.

— Ладно, — прохрипел Женька,

Калитка висела на одной петле. Лешка открыл ее, прочертив деревянным основанием полукруг по земле. И сразу звякнула цепь, послышалось глухое ворчание.

— Свои, псина! — крикнул в темноту Лешка.

Я очень нервничал, чувствовал, как колотится сердце, предвкушая «то».

Ступенька... Вторая... Третья... Запахло огуречным рас-солом. Я наткнулся в темноте на ведро, стоявшее на скамейке, чуть не опрокинул его. Но все же облился. Пижама стала липнуть к телу. Подумал: «Неприлично появляться перед девушками с мокрым пятном». Хотел сказать об этом Лешке, но не успел — дверь распахнулась, и мы очутились в просторной комнате, разделенной на две половины огромной печью с лежанкой, на которой горбились что-то, прикрытое тулупом. В комнате стоял продолговатый стол, накрытый старой клеенкой. Над столом свисал оранжевый абажур. Ткань плохо пропускала свет, в комнате было темновато. На середине стола теснились одна подле другой шесть рюмок на толстых, коротких ножках.

При нашем появлении сидевшие за столом девушки отложили карты и посмотрели на нас. Одна из них — черно-волосая, с живыми, блестящими глазами — выпла, семеня короткими ногами, из-за стола и сказала, обратившись к Лешке:

— А мы думали — не придете. В подкидного вот играем.

— Знакомьтесь, — сказал Лешка.

Хозяйка дома еще не назвала себя, а я уже понял, что это — Любка. Лешкина симпатия и впрямь напоминала карася, поставленного на хвост.

— А это, ребята, подружки мои, — сказала Карасиха и подвела нас к девушкам.

Я глянул — девушки как девушки. Глаза потупили, ситцевые платья распушили — вот мы какие!

— Вера, — подала мне «селечкой» руку одна и уперлась взглядом в тесовый, выскобленный пол.

— Надя, — сказала другая и воровато стрельнула в меня карим глазом.

— Правда, Леш, хорошо придумала — Вера, Надежда, Любовь? — Карасиха вопросительно посмотрела на Лешку.

Ячко кивнул и обнял Любку. Она улыбнулась, стала вдруг такой пригожей, что я подумал: «Понятно, почему Лешка сказал «не мыльтесь».

Познакомившись, Вера и Надя отошли, стали шептаться, приглушенно смеясь. Я решил, что они увидели мокрое пятно на пижаме, и смутился.

— Леш,— Любка поманила нашего товарища пальцем.

Ячко подмигнул: не робейте, мол, и скрылся с Карасихой в соседней комнате.

Вера и Надя посмотрели на нас, а мы на них. Никто не начинал разговора, который должен был внести непринужденность в наши отношения. Я стоял боком к девочкам, скрывая от них мокрое пятно. Женька раздраженно шипел в спину:

— Скажи что-нибудь. Скажи!

Я бы сказал, если бы не пятно. Оно не выходило из головы, мешало сосредоточиться, стать самим собой.

Наша скованность Веру и Надю не удивляла. И, наверное, потому, что они еще не бывали в компаниях; эта вечеринка, должно быть, была для них первым «выездом в свет».

Женька косился на Веру, а мне нравилась Надя. Ее красиво изломленные губы трепетали от беззвучного смеха, когда она обращала на меня большие, широко расставленные глаза. Под платьем свободного покроя угадывалось сильное тело. Я почувствовал: Надя ждет от меня чего-то, и, несмотря на то что мы не сказали друг другу ни слова, между нами возник контакт.

Мы молчали до тех пор, пока не появился Лешка с графинчиком, наполненным украденным спиртом. Следом шла Любка, неся в одной руке блюдо с дымящейся картошкой, в другой — тарелку с малосолистыми, пупырчатыми огурцами.

— В молчанки, славяне, играете? — сказал Лешка.— Сейчас выпьем и...

— Садитесь, мальчики,— пригласила Любка. Голос у нее был густой, приятный.— И не стесняйтесь! В этом доме все запросто.

Надя села возле меня. Я тотчас пощупал пижаму — мокро. Скосил глаза. Встретился с Надиным взглядом и смутился.

Лешка разлил разбавленный водой спирт.

— Ну, чтоб не в последний раз в такой хорошей компании!

Вера и Надя поломались для приличия, но выпили.

— Молодцы! — похвалил их Лешка,

Я хрустел огурцом. Неловкость исчезла, словно ее и не было. Повернувшись к Наде, храбро сказал:

— А вы — красивая!

— Правда?

— Честное слово!

Девушка потупилась.

— А вы, оказывается, комплиментщик. Наверное, всем такое говорите?

— Только вам! — Я стал расточать комплименты.

За столом создавалась непринужденная обстановка. Лешка сказал Любке:

— Покрути-ка любимую!

Карасиха подошла к патефону, стоявшему на тумбочке около окна. Раздался хрип, и мужской голос запел про утомленное солнце, которое нежно прощалось с морем.

Я попытался обнять Надю. Она увернулась:

— Потанцуем?

Я танцевать не умел. Так и объяснил Наде.

— Пустяки! — Она улыбнулась. — Мигом выучу.

Женька с томным выражением на лице выделявал с Верой разные «па». Лешка и Любка разговаривали. Я старался прижать Надю. Смеясь глазами, она упиралась ладошками в мою грудь.

Когда пластинка кончилась, мы снова выпили. Лешка отозвал меня в сторонку:

— Ты не очень-то старайся. Судя по всему, эта Надя совсем зеленая.

— Чепуха, — возразил я, совсем захмелев.

Женька предложил Вере прогуляться. Любка и Лешка исчезли в соседней комнате. Я обнял Надю — она не противилась. Жарко дыша ей в ухо, прошептал:

— Ты мне нравишься.

— Очень?

— Очень, — солгал я и стал целовать ее.

Надя молчала. Я осмелел.

— Женишься? — прошептала Надя.

— Конечно! — ничего не соображая, ответил я.

И вдруг ощутил чей-то взгляд. Свесившись с лежанки, на меня смотрела Любкина бабка. В ее старческих, выцветших глазах было любопытство. Я выругался и, сгорая от стыда, бросился вон. Собака, звеня цепью, кинулась мне под ноги. Я шарахнулся, чуть не налетел на Женьку и Веру...

Было раннее прохладное утро, когда я подходил к бывшей церкви, за которой размещался наш дом. Солнце только вставало, обещая хороший, жаркий день. На плече у меня висел «сидор» с сухим пайком, в кармане лежало отпусное свидетельство, выданное в госпитале.

Первый, кого я увидел, войдя во двор, был кот Васька. До войны он жрал только сырое мясо. Когда ему давали вареное, Васька фыркал, и в его круглых, как иллюминаторы, глазах появлялось презрение. Это был большой дымчато-серый кот с короткой, гладкой шерстью. Смотрел он на всех подозрительно, несмотря на то что жилось ему в нашем доме вольготно. Хозяйки охотно пускали его в свои комнаты — Васька уничтожал мышей, которых в нашем доме было видимо-невидимо. Днем Васька спал, а по ночам, если его не отвлекали амурные дела, исправно ловил мышей. Двух-трех приносил попадье — своей хозяйке, клал их на постель; сам садился у кровати и терпеливо ждал, когда его похвалят.

Ольга Ивановна, попадьа, ката любила. Она любила его больше своих сыновей — сыновья у Ольги Ивановны были не приведи бог.

Старший из них — Коленька — в детстве перенес менингит. Несмотря на седину (Коленьке перевалило за сорок), играл он в куклы: наряжал их в церковные одежды, благословлял их, изображая попа.

Зрение у Коленьки было слабое: видел он только очертание предмета, поэтому всегда ходил с толстой палкой, служившей ему поводырем. Среднего роста, сторбленный, весь какой-то помятый и нескладный, он с утра до вечера слонялся по двору, постукивая палкой. Мне казалось, Коленька изнывает от безделья.

Пока в наш дом не провели водопровод, он носил хозяйкам воду — две копейки ведро. Моя мать платила больше, и Коленька благоволил к ней.

Мальчишки обижали дурачка: дергали за полы разлезавшегося по швам сюртука, бросали под ноги камни. Коленька спотыкался. Это вызывало смех.

Мальчишечьи проказы надоели дурачку, и он обзавелся милицейским свистком. Когда мальчишки уж очень донимали, Коленька подносил к губам болтавшийся на груди свисток, и в нашем дворе появлялся встревоженный милиционер. Кивая в такт словам, он выслушивал дурачка, делал

мальчишкам внушение и удалялся с полным сознанием исполненного долга. Как только милиционер скрывался за воротами, мальчишки окружали Коленьку, начищали прищипывать вокруг него, приговаривая:

Ябеда проклятая,
На колбасе распятая,
Сосисками прибитая,
Чтоб не была сердитая!

Несколько секунд Коленька подслеповато всматривался в лица своих обидчиков, потом снова подносил к губам свисток. Мальчишки разлетались, как испуганные воробьи.

Милицейские трели в нашем дворе раздавались каждый день. Это надоело милиционерам. Они решили отобрать у дурачка его «оружие». Но не тут-то было! Свисток Коленька не отдал, поэтому в нашем дворе до самой войны звучали милицейские трели, на которые никто, в том числе и милиция, не обращал внимания, несмотря на то что дурачок старательно дул в свисток.

Я тоже дразнил Коленьку. Дразнил до тех пор, пока он не расплакался. Мне стало стыдно, так стыдно, что даже в жар бросило.

Младший сын попадьи — Костька — был темнорус, широкоплеч, высок ростом. Он не работал и не учился. Целыми днями гонял голубей или ловил крыс. Когда удавалось поймать крысу, он обливал ее керосином и поджигал. Объятое пламенем животное металось в крысоловке. Все смеялись. Я тоже смеялся, хотя в глубине души жалел крысу: она кричала от боли, от предчувствия близкой смерти. Однажды Костька открыл крысоловку, и животное, превратившееся в огненный шар, помчалось к сараям, в которых лежали сухие, как порох, дрова. Поднялась паника. Все решили, что сейчас начнется пожар. Он, возможно, начался бы, если бы крыса добежала до сарая. Но она свалилась возле щели, долго чадила, распространяя запах паленой шерсти.

Перед самой войной Костьку посадили. Из тюрьмы отправили в штрафную роту. Он погиб в самом начале войны.

Я хорошо относился только к Коленьке, — попадью, Костьку и их кота терпеть не мог. Особенно кота — он жрал не только мышей, но и птиц. Когда у воробьев появлялись птенцы, Васька переставал интересоваться мышами. Все выпавшие из гнезд птенцы становились его добычей. Этого Ваське было мало. Он лазал по карнизам

и пожирал крошечных, беспомощных птенцов в гнездах. Взрослые воробьи храбро пикировали на Ваську, оглашая воздух отчаянными криками, которые в переводе на человеческий язык, должно быть, обозначали: «Караул! Грабят!» Я стоял внизу и возмущался, размахивая руками. Васька косил на меня зеленым глазом и продолжал свое черное дело. Мне хотелось запустить в него камнем, но я боялся разбить стекло.

Когда началась война, Ваську кормить перестали. Он быстро переловил всех мышей, разогнал крыс и пачал воровать продукты. Этого простить ему не могли. Хозяйки стали лупить кота, чем попало. Первое время Васька выгибал спину и шипел, а потом понял: это никого не пугает.

...Васька трусил по двору, держа в зубах воробья.

— Отдай! Сейчас же отдай! — завопил я, позабыв обо всем на свете.

Кот метнул на меня взгляд и бросился наутек, распушив хвост. Я припустился следом.

— Жора? — вдруг услышал я знакомый голос.

Оглянулся — Зоя. И — странное дело! — не испытал ни радости, ни восторга.

— Видела? — возбужденно выпалил я. — Какой разбойник, а?

Зоя усмехнулась, и это привело меня в нормальное состояние. Я вдруг вспомнил о вечеринке, где могло произойти то, о чем я не должен был даже помышлять, и смутился. То, что было у Любки, стало восприниматься, как предательство. Почудилось: Зоя догадывается обо всем. Но она смотрела на меня спокойно, дружелюбно. На душе отлегло.

Из подъезда выполз, щупая палкой землю, Коленька, сильно похудевший, осыпанный перхотью, в старом сюртуке, превратившемся в лохмотья. Подойдя к нам, дурачок поздоровался с Зоей, спросил, близоруко всматриваясь в меня:

— А это кто?

— Жора, — ответила Зоя.

— Который? — Коленька прищурил глаза, стараясь разглядеть меня получше. — Уж не Саблин ли?

— Он самый, — подтвердил я.

— Ты первый вернулся! — радостно объявил Коленька. — А то все эти... как их...

— Похоронки?

— Они, они... Скоро ли конец?

— Возьмем Берлин — и сразу конец.

— Скорей бы. Я каждый божий день за победу молюсь.

— Правильно делаешь, — похвалил я. — А теперь ступай — нам поговорить надо.

— Иду, иду, — откликнулся дурачок и застучал палкой.

— Не жилец он, — сказала Зоя, провожая Коленьку взглядом. — Попадья его в черном теле держит. Сама его паек съедает — ему только крохи достаются.

Я хотел было достать из «сидора» сухарь, но подумал: «На всех не напасешься. Вся Россия сидит сейчас на пайке, от которого ноги не протянешь, но и сытым не будешь».

Когда Коленька скрылся за домом, я увидел то, на что не обратил внимания сразу: одета Зоя была во все старенькое, в руках держала туго набитую сумку.

— Куда это ты собралась?

— В колхоз.

— Зачем?

— На уборку овощей.

— А как же я? У меня отпуск — три дня всего.

— Ничего не поделаешь, — сказала Зоя. И мне почудилось, что она не очень-то огорчена. — Ты обещал через месяц приехать. Тебя досрочно выписали?

Зоя угадала. Меня выписали досрочно — сразу после вечеринки. Выписали не только меня, но и Лешку. Хотели выписать даже Женьку, но в самый последний момент начальник госпиталя смилостивился.

Нас предал Петька. Мы с Лешкой высказали напоследок все, что думаем. Петька молчал, посапывая, кидая на нас настороженные взгляды. Если бы он стал оправдываться, мы бы ему накостыляли.

Глядя вбок, я проговорил неестественно-бодрым голосом:

— Начальство само решает, когда кого выписывать. Я — солдат. Мое дело — приказы выполнять.

Зоя снова усмехнулась:

— Тогда, может быть, проводишь меня до автобуса?

Я кинул взгляд на окно нашей комнаты.

— Твоя мама вечером вернется, — сказала Зоя. — Она на дежурстве.

«Опять на дежурстве», — подсадовал я и произнес вслух:

— Пошли!

Мы пересекли Шаболовку, при виде которой на меня нахлынули воспоминания и перед глазами возникло столько картин, что появились слезы умиления, и направились проходными дворами на Донскую. Мы шли той дорогой, какой я обычно ходил в школу. Свернув за угол, очутились возле невзрачного домика — в нем жил когда-то извозчик Комаров, разбойник и убийца. Меня каждый раз охватывал ужас, когда я проходил мимо этого дома. Раньше я не представлял, как можно жить в нем, а теперь не испытывал ничего, кроме любопытства. Возле дома сидела на скамеечке старушка, не спуская глаз с развешанного на веревке белья.

Ничто не изменилось. Повсюду виднелись дома и домишки, сарай, обитые ржавым железом. По сравнению с ними школа, в которой я учился до войны, казалась небоскребом. Выглядела она мрачно: кирпич потемнел, стал щербатым, как побитое оспой лицо.

К школе стекались, словно ручейки, ребята. У одних в руках были портфели, у других тетради и книжки, перехваченные резинками. Я почему-то позавидовал им. Зоя взглянула на меня:

— После войны что делать думаешь? Учиться?

— Наверяд ли.

— Почему?

«Когда кончится война, — подумал я, — мне будет девятнадцать, а может, и двадцать». Так и сказал Зое. Добавил:

— После войны женюсь, наверное.

— На ком?

— На тебе!

Зоя улыбнулась.

— Это что — официальное предложение?

Я вспомнил почерневшую от пожара деревеньку, крадущуюся по бревну кошку, Витьку с кровавым пятном на груди, рыдающую Марию Ивановну и твердо сказал:

— Пока нет. Но сделаю!

— И уверен, что я соглашусь?

— Уверен!

— Почему?

Лешка часто говорил, что после войны парни будут нарасхват. Так я и заявил Зое. И понял — сказал глупость: Зоя весело взглянула на меня и произнесла:

— Ну, ну...

Справа виднелась Октябрьская площадь, слева — церк-

вушка. До войны она была грязной, неказистой, а теперь выглядела, как невеста.

— Пойдем там,— предложил я.

— Хорошо,— согласилась Зоя.

Я старался заметить, что изменилось на Донской, но не обнаружил никаких изменений и взволнованно подумал: «У Гитлера кишка тонка, другие столицы он в развалины превратил, а Москва как стояла, так и стоит и будет стоять вечно, потому что она — Москва!»

Церквушка носила следы недавнего ремонта: пахло краской, очищенные от грязи купола сверкали на солнце, как пожарные каски. Шло богослужение. Из распахнутых настежь дверей доносился хриплый бас. Ему вторил хор.

— Зайдем? — Зоя вопросительно взглянула на меня.

— Зачем?

— Просто так.

— А не выгонят?

— Нет.

Я подумал и кивнул:

— Ради любопытства можно сходить.

— Пилотку сними,— напомнила Зоя, когда мы подошли к двери.

Я сдернул с головы пилотку, и мы очутились в церкви. На плече у меня висел «сидор». Зоину сумку я держал в руке, поэтому чувствовал себя не очень уверенно.

На нас никто не обратил внимания: все молились, все слушали священника — обладателя хриповатого баса. Я не вникал в смысл произносимых им слов — разглядывал церковь и прихожан. До этого я не бывал в церквах и сейчас чувствовал себя так, будто находился в музее.

Пахло ладаном, потом и еще чем-то. Я с жалостью подумал о людях, которые вместо свежего воздуха дышат этой отравой.

Священник повысил голос, и под церковными сводами прозвучало:

— Ана-аафе-маа!

Я понял: священник предаёт анафеме Гитлера. Это понравилось мне. Но самое сильное впечатление произвела на меня паства.

Чуть в стороне стоял, опираясь на костыли, инвалид с обожженным лицом, с медалями на груди, с двумя ленточками — желтой и красной — на пиджаке. Желтая ленточка обозначала тяжелое ранение, красная — легкое. В глазах этого человека была отрешенность: он, наверное,

видел сейчас тот бой, после которого стал инвалидом, который снится по ночам, и он, проснувшись в холодном поту, долго лежит с открытыми глазами, вспоминая однополчан — тех, кто дрался до последнего патрона и погиб, швырнув последнюю связку гранат под гусеницы танка с черным крестом на боку. Рядом с инвалидом молилась старушка. Я решил: «У нее сын на фронте, и она просит бога сохранить ему жизнь». Позади старушки возвышался наголо стриженный парень. Он отводил в сторону глаза, краснел и смущался. Возле него крестилась немолодая женщина. «Сын, наверное, уходит в армию,— догадался я,— и мать насильно привела его сюда, чтобы помолиться».

В Зоиных глазах появились слезы. Это удивило меня, и я, позабыв, где нахожусь, уставился на нее.

— Пойдем,— шепнула Зоя.

Ветерок омыл лицо, и я снова пожалел тех, кто остался в тесном, душном помещении, но не стал осуждать этих людей, решил, что они сами разберутся во всем, когда наступит срок.

— Ну, как? — спросила Зоя.

— Душно,— ответил я.

Зоя помолчала. Потом произнесла с вызовом:

— А мне понравилось!

— Чепуха! — возразил я и добавил, что попов ненавижу с детства, что бог нужен только таким, как Коленька. Зоя ничего не ответила.

Большая Калужская предстала передо мной во всей красе. Немцам не удалось разбомбить на этой прекрасной улице ни одного дома, хотя в двух шагах находился «Красный пролетарий» и другие важные объекты, в том числе и научно-исследовательские институты с очень трудными названиями. Немцы сами убедились, что Москва не пострадала от бомбежек, когда топали под конвоем по ее улицам. Зоя стала рассказывать, как шли вот по этому асфальту немецкие генералы, офицеры и солдаты, как тысячи москвичей провожали их взглядами.

Электрические часы показывали без десяти девять. Я с удивлением обнаружил, что они показывают теперь точное время. Увидел тележку с газированной водой и обрадовался.

— Это уже давно,— сказала Зоя.— В Москве даже

мороженое продают. Только дорогое оно — 25 рублей порция.

Я присвистнул.

— В коммерческих магазинах все есть, — продолжала Зоя, — и масло, и колбаса, и даже конфеты.

— Это прекрасно! — воскликнул я. — Это лишний раз подтверждает — скоро конец.

— Но цены, цены, — ужаснулась Зоя.

— Ничего! Кончится война — сразу все подешевеет.

Когда мы подошли к автобусной остановке, Зоя вздохнула:

— Вот и все.

Я вызвался проводить ее дальше, но она сказала, что доберется сама.

Зоя уехала, и я тотчас перестал думать о ней. Вспоминал Петровича, Ячко, Витьку Солодова, хотел поскорее увидеть мать, а Зоя лишь иногда возникала перед глазами и тут же исчезала.

Показался патруль — два солдата и офицер. Я прижал левую руку к бедру, правую — вскинул к пилотке, стал печатать шаг.

— Минуточку! — остановил меня капитан с красной повязкой на рукаве. — Почему не подстрижены? Предъявите-ка документы! — И хотя документы оказались в полном порядке, капитан приказал одному из солдат отвести меня в комендатуру: в госпитале я обзавелся прической, а мне, рядовому, полагалось быть остриженным под «ноль».

— Слышь, браток, — сказал я солдату, когда мы отошли. — Отпусти меня, я в отпуск приехал — на три дня всего.

— Не могу, — ответил солдат. — Наш капитан всегда проверочку делает. Из-за тебя мне на «губе» сидеть неохота.

— Понятно. — Я не стал настаивать.

В комендатуре вместе с другими задержанными я вкалывал два часа строевым на ровном, вытоптанном плацу; потом меня отвели к парикмахеру, который тут же, в комендатуре, стриг солдат под машинку.

Взглянув на меня, парикмахер — старый и тощий, с медалью «За боевые заслуги», приколотой поверх халата, — сказал, раскатисто выговаривая букву «р»:

— Не огорчайтесь, молодой человек! Поверьте быв-

шему кантонисту: волос для солдата — беда. Это инфекция, это вошь. Будет у вас после войны прическа, и не такая, как у меня. — Наклонив голову, парикмахер продемонстрировал мне свою лысину с пушком на макушке.

Стриг он — словно из пулемета строчил. Я не успел опомниться, как моя голова стала гладкой, как шар.

— Освежить?

— Валяйте! — Я нащупал в кармане мятую трешницу — последнюю.

Сдачи парикмахер не дал, сунул трешницу в ящик стола, согнулся в полупоклоне и крикнул:

— Следующий!

Я вышел из комендатуры с неприятным ощущением, словно меня обворовали: и волос лишился, и трешницы. Даже на трамвай не осталось.

20

Ключ от комнаты лежал на прежнем месте — в коридоре, под корзиной, где по ночам скреблись мыши. Сквозь тонкую перегородку отчетливо доносилась их возня, и я долго не мог заснуть. Так было до войны. Когда я стал работать на 2-м ГПЗ, то о мышах не вспоминал: возвращался усталый и не вслушивался в то, что происходило за стеной.

«Интересно, — подумал я, всовывая ключ в замочную скважину, — по-прежнему скребутся мыши под нашей корзиной или сдохли — ведь жрать-то им нечего».

В комнате, как и раньше, чуть-чуть пахивало лекарствами и слабыми духами, которыми пользовалась мать. Я перевел взгляд на туалетный столик и увидел флакон с остатками этих духов — тоненькой полоской лимонного цвета на самом доннышке. Круглый обеденный стол был накрыт скатертью с вышитыми на ней узорами. На столе лежал распечатанный конверт — мое последнее письмо.

Я походил по комнате, потрогал флакон, переставил с места на место шкатулку — в ней мать хранила брошки, дамские часики с защелкивающейся крышкой и другие безделушки, разделся, лег на диван. Ноги уперлись в валик: за девять месяцев, проведенных вдали от дома, я подрос еще на несколько сантиметров.

Я проснулся и сразу понял: мать уже дома. В комнате был полумрак, на тумбочке горела прикрытая газетой настольная лампа.

— Мама? — позвал я.

Она шагнула откуда-то из темноты:

— Я все ждала, когда ты проснешься. Хотела разбудить, но ты так сладко спал.

— Надо было разбудить!

Мы обнялись. Я ощутил на своем лице материнские слезы, теплые и какие-то ласковые, и чуть не расплакался сам.

— Боже мой, каким ты стал! — удивилась мать. — Издали не узнала бы. Вырос, возмужал. Солдатская служба тебе на пользу.

— В госпитале хорошо кормили! — ляпнул я.

— Сейчас, сейчас, — забеспокоилась мать. — У меня картошка есть, сахар, немного хлеба.

— погоди! — Я перевернул над столом «сидор», высыпал сухой паек — две банки свиной тушенки, концентраты, сухари, горсть рафинада, початую буханку.

Мать всплеснула руками:

— Какое богатство!

— Это еще что. — Я постарался произнести эту фразу небрежно.

— Пируем? — Мать вопросительно посмотрела на меня.

— Конечно!

Очень хотелось есть, но я делал вид, что сыт, подсовывал лучшие куски матери.

— А я думала, ты голодаешь.

Я вспомнил радиополк, Тоську-повариху, обкрадывавшую нас, и солгал:

— Нет, нас всегда хорошо кормили — грех жаловаться.

— Надо Коленке что-нибудь отнести, — спохватилась мать и отложила сухарь. — Жалко его — скоро пухнуть начнет с голодухи.

Я покраснел.

— Что с тобой? — Мать застыла с хлебом в руке.

— Так, — пробормотал я.

Мне было стыдно, очень стыдно: утром я пожадничал, пожалел сухарь, который теперь отложила для Коленки мать.

За окном громыхнуло. «Бомбежка?» — Я с тревогой посмотрел на мать. Она улыбнулась:

— Это салют.

Погасив в комнате свет, мать откинула край шторы, и я увидел расцветенное ракетами небо. Они взмывали вверх, напоминая гигантские фонтаны. За десять месяцев, проведенных вдали от дома, я отвык от этого волнующего зрелища, и теперь, не отрываясь, смотрел на рассыпающиеся в небе ракеты. Вспомнил Петровича и сказал сам себе: «Он прав. Еще немного, и фрицам хана».

— В Москве почти каждый день так, — вполголоса произнесла мать. — Люди радуются, когда видят это.

И хотя я провел на фронте всего один день, моя душа наполнилась гордостью: кто знает, может быть, несколько месяцев назад Москва салютовала той дивизии, в состав которой входила рота, бравшая опутанную колючей проволокой высотку.

После салюта мать сказала:

— А теперь — спать! Тебе отдохнуть надо, сын...

Утром, когда мать ушла на работу, мне стало одиноко. Походил по комнате, поглазел в окно. Во дворе было тихо, безлюдно. А до войны мальчишки гоняли по двору тряпичный мяч, перевитый для прочности проволокой, на скамейках сидели старухи в платочках, два раза в неделю появлялся старьевщик, менявший пустые бутылки на «уди-уди» — резиновый чехольчик, превращавшийся при надувании в красивый шарик.

От нечего делать я решил сходить в кино, но у «Авангарда» была очередь, да и не хотелось идти в этот кинотеатр без Зои. Неожиданно вспомнил Зинин адрес, приятельницы Фомина, и направился к ней.

Поднявшись на третий этаж, постучал в окрашенную коричневой краской дверь.

— Кто там?

— Зину можно?

Звякнула цепочка. Очень похожая на Зину женщина в вязаной кофте с протертыми локтями подозрительно посмотрела на меня.

— Зину можно? — повторил я.

— А вы кто?

— Знакомый.

— Не от Фомина?

— Нет. Но его знаю.

— Проклятый парень — этот Фомин! — взорвалась женщина. — Своими бы руками задушила! Задурил девочке голову, наследил и как в воду канул. Даже писем не пишет.

Женщина говорила долго и нервно. Я перебил ее, сказал, что тоже не люблю Фомина.

Женщина сразу успокоилась.

— А я думала — вы от него. А Зины нет — уехала.

— Куда?

Женщина потеревила край кофты.

— Далеко.

Я увидел на вешалке беличье манто и подумал: «Обманывает». Потоптался и сказал:

— Привет ей передайте.

— От кого?

— От Жоры.

— Передам, передам. — Женщина кивнула несколько раз и захлопнула дверь.

Звякнула цепочка.

Зинин дом находился неподалеку от магазина «Масло» — угол Пятницкой улицы и Добрынинской площади. До войны мать покупала в этом магазине вологодское масло. Сейчас в нем тоже продавалось масло, но только по коммерческой цене.

Зашел в магазин. На прилавках лежало все, что душа пожелает. Даже сырки в плетеных корзиночках — точно такие же, какие продавались до войны. Но цены ошеломляли. Поглазел на все это и потопал в военкомат, к Шубину. Он не узнал меня, а потом обрадовался, сказал, заикаясь сильнее обычного:

— С-смотри, к-каким с-стал! Г-гренадер! Уже п-пнюхал п-пороха или не д-довелось п-пока?

— Только что из госпиталя, — похвастал я.

Шубин уважительно помолчал.

— К-куда т-тебя с-садануло?

— Контузило. Во время атаки.

— Н-ну?

— Честное слово, — контузило!

— Д-да я не об этом. Н-неужели в-в атаку х-ходил?

— Довелось. На второй день — даже осмотреться не успел.

— С-страшно было?

— Страшновато.

Шубин задумался, и я решил, что он вспоминает бом-

бежку, во время которой потерял руку и стал заикой. Мы поговорили еще минут десять, пожелали друг другу всего самого наилучшего и расстались.

21

На следующий день я пошел на «шарик». В отделе кадров, куда я заглянул за пропуском, меня узнали, стали расспрашивать, где я воевал, одобрительно посмеивались. Начальник отдела кадров похлопал меня по плечу.

— Вот каких богатырей посылает на фронт наше предприятие!

— Гвардеец! — подхватил инспектор отдела кадров — тот, который мне и двух слов не сказал, когда выписывал направление в цех.

Начальник порывлся в шкаф, достал мое личное дело. Я с трудом узнал себя на маленькой фотографии: подростка с выступающими скулами и торчащим носом.

Полистав личное дело, начальник воскликнул:

— А ты, оказывается, не увольнялся?

— Не успел, — солгал я. — Повестка вечером пришла, а утром — с вещами.

— Бывает... Тебе выходное пособие причитается. И еще за восемь рабочих дней. Можешь пройти в бухгалтерию и получить. А пропуск в цех — пожалуйста. Мы фронтовикам всегда рады. После демобилизации — милости просим. Дополнительным питанием обеспечим, ордерок на костюм подкинем.

Получив в бухгалтерии деньги, я направился в цех. Хотелось покрасоваться и перед Суховым, и перед ребятами.

За фанерной перегородкой — там, где состоялся памятный мне разговор, сидел какой-то мужчина. «Странно», — подумал я и спросил:

— Ивана Сидоровича можно видеть?

— Сухова?

— Да.

Мужчина пытливо посмотрел на меня.

— А вы кто ему?

— Никто. Я работал тут.

Мужчина сунул в рот окурок, лежавший в пепельнице, сделанной из бракованной снарядной гильзы, и сказал:

— Умер Сухов. Три месяца назад.

Этого я не ожидал. Мужчина сказал:

— Не расстраивайтесь. Я недавно тут. А ребята вам все расскажут.

Я пошел к станкам. Увидел ребят, с которыми работал в одной смене, помахал им рукой. Они узнали меня, выключили станки.

— Здорово, брат!

— Здорово!

Меня снова похлопывали по плечу, вертели, оглядывали со всех сторон.

— А Иван Сидорович, говорят, того? — сказал я.

— Да. — Ребята помолчали.

— Грешно о покойнике плохо говорить, но он мне много крови испортил.

— И ты ему! Иван Сидорович тебе плохого не желал. После твоего ухода в армию часто вспоминал тебя. «Саблин, — говорил, — малый хороший, только дури в нем много». А что зудел он, так его понять можно: сын погиб. Один жил, кроме сына и бога, у него никого не было.

— Бога? — удивился я.

— Ага, — подтвердили ребята. — Сухов верующим был.

Ребята рассказывали про начальника цеха, а я мысленно представлял себе его жизнь.

В его руке письмо. В нем сказано: «Ваш сын — старший лейтенант Сухов Борис Иванович в боях за Советскую Родину пал смертью храбрых». Огромное горе обрушивается на старика-пенсионера. Он хочет одного — умереть. Несколько дней лежит, ожидая, когда придет смерть. Но она не приходит, перед глазами все время стоит лицо сына — улыбающееся, жизнерадостное. Это причиняет старику нестерпимую боль. Иван Сидорович стискивает зубы, ворочается с боку на бок, но боль не ослабевает. И тогда он встает и направляется в военкомат.

В военкомате надрываются телефоны, хлопают двери, бегают командиры с бумажками в руках.

— Отвяжись, старик, не до тебя, — говорит Сухову один из них.

Иван Сидорович понимает: на фронт его не пошлют. Несколько минут стоит у военкомата, наблюдая, как в его двери вливается людской поток, вздыхает и направляется в отдел кадров своего завода. Сухова назначают начальником цеха — прежний начальник, инженер по образованию, с которым Иван Сидорович проработал рука об руку не один год, уже воюет.

Трудно приходится старику. Его личное горе становится лишь крохотной частицей общего большого горя. Никто не утешает его, никто не расспрашивает о сыне: многие получили «похоронки» и считают свое горе самым большим. С Сухова требуют одного — снарядные гильзы. Как можно больше гильз!

До сих пор вспоминаю эти гильзы. Закрою глаза и вижу: гильзы, гильзы, гильзы — блестящие, выточенные с точностью до одного миллиметра. Они стоят на полу по всему цеху, и в каждой из них отражается свет электрических лампочек — много-много маленьких солнц.

— Умер он прямо в цеху, — доносится до меня голос ребят. — Отдал какое-то распоряжение, схватился за сердце и рухнул вот на этот пропитанный мазутом пол. Когда к нему подбежали, он был еще жив и все силился сказать что-то... Вот так-то, брат, — вздохнули ребята. — Похоронили его на Даниловском.

В тот же день я пошел на Даниловское кладбище. Постоял, обнажив голову, около могилы, на которой лежал камень с прикрепленной к нему табличкой, выточенной в виде снарядной гильзы: «Здесь покоится Сухов И. С. 1880—1944». Прочитал эту надпись и подумал: «Каким же дураком я был!» Словно в ответ в кустах пискнула синица, и на березе, под которой покоился Иван Сидорович, прошуршала листва.

Весь день у меня было плохое настроение. Весь день я вспоминал Сухова, Витьку Солодова: «Скорей бы снова попасть на фронт!» Мне хотелось отомстить фашистам за всех, кого они убили, кому причинили страдание и горе.

Три дня промелькнули, как сон. Перед разлукой мать поплакала, как плачут все матери, провожая сыновей, попросила беречься. Я обещал, а про себя подумал: «Пуля — дура, ей плевать на материнские слезы».

Запасной полк, в который направили меня, находился на окраине Калинина, недалеко от железнодорожного полотна, по которому и днем, и ночью громыхали составы с

военной техникой; пассажирские поезда проходили редко — три раза в день: два «туда», один «обратно». Второй поезд в обратную сторону, в сторону Москвы, проходил мимо нашего полка ночью.

Весь полк — казармы, столовая, канцелярия и прочие службы — размещался в четырехэтажном здании в виде буквы «Г». Здание стояло на отшибе, в стороне от других домов — их скрывал высокий забор с щелями. Прильнув к щели, я смотрел на домики с палисадниками и почему-то вспоминал госпиталь, Лешку, Женьку и даже Зайцева. «Где они сейчас? — гадал я. — Свидимся ли мы когда-нибудь?» И еще вспоминал Кольку Петрова, ругал себя за то, что во время отпуска не зашел к нему домой, не узнал, что с ним.

Два раза в день — утром и в сумерках — около колонки, стоявшей на обочине пыльной улицы, собирались женщины с ведрами, и тогда все свободные от службы солдаты прилипали к забору: толкая друг друга, мы смотрели на женщин, комментировали каждое их движение, каждый жест. Эти комментарии не отличались изяществом слога — они свидетельствовали о желаниях, о тоске, которая охватывает молодых и здоровых парней, вынужденных обходиться без женщин.

Каждый день и каждый раз в сумерках возле колонки появлялась женщина, смотреть на которую мне было приятно. Ее лица я не видел — колонка находилась далеко от забора, женщина подходила к ней только в сумерках, когда солнце скатывалось за еловый лес, темневший на фоне тускнеющего неба; казалось, кто-то, большой и сильный, выпивает из него синь: небо постепенно меркнуло, покрывалось дымчатой пленкой, становилось утомительно-однообразным, некрасивым. Фигура этой женщины, ее жесты напоминали мне Зину. Может быть, потому, что я часто думал о ней, чаще, чем о Зое. В памяти все время возникала то сцена около Курского вокзала, то Фомин, комкающий письмо. Я почему-то завидовал ему, хотелось очутиться на его месте.

Кроме казармы, внутри забора находился «грибок», и росли три березы, одна подле другой. Все остальное представляло собой пустырь, на котором ничего не росло и не могло расти: с утра до вечера эту землю трамбовали сапоги и бутсы, подбитые металлическими пластинками. Под «грибком» сменялись часовые, под березками на грубо сколоченных скамейках коротали досуг солдаты.

Стояли жаркие дни бабьего лета, и скамейки под березками никогда не пустовали: пожелтевшая, но еще не опавшая листва давала редкую, как кружева, тень — единственное спасение от палящих лучей.

В казарме пахло перепревшими щами, ваксой — всем, чем пахнут казармы, поэтому все свободное время я проводил под березками, набираясь солдатской мудрости.

Под березками говорили обо всем — о предстоявшей отправке на фронт, о немцах, которые уже стали не те, но еще многих покалечат и поубивают, пока мы до Берлина дойдем, о солдатских харчах («жить можно, но к бабе не лезь, с бабой от такого харча только поиграешь, а потом — в кусты»), о женах, матерях, девушках и о многом-многом другом, что волновало и тревожило солдат.

Там, под березками, я снова встретился с Гришкой Безродным. Он увидел меня, вильнул взглядом и пошел прочь.

— Эй! — окликнул его я.

Гришка остановился.

— Все кантуешься? — спросил я. — Не надоело?

Безродный пробормотал что-то и, по-смешному двигая выпирающими лопатками, ушел. С тех пор я видел его только в столовой, да и то мельком: в запасном полку ожидало своей участи тысяч пять таких же, как я, солдат.

Там же, под березками, я познакомился с Генкой Волчанским — разбитным, улыбчивым парнем с бачками. Молодой, но любящий показать свою власть старшина приказал их «ликвидировать немедленно», на что Генка и ухом не повел. На следующий день, он, естественно, схлопотал наряд вне очереди. Выполнять его не стал, пошел к командиру роты — капитану с брюшком, авторитетно заявил ему, что бачки — не прическа, что носить их можно, что никаких указаний на этот счет не существует.

Командир роты уставился на Генку, стал соображать, как поступить.

— Бачки, товарищ капитан, все одно, что усы, — сказал Генка.

Это убедило командира роты. Он разрешил Волчанскому носить бачки, но внеочередной наряд не отменил — ночью Генке пришлось драить полы.

Я вызвался помочь ему. Генка драил полы и чертыхался.

Проводить досуг под березками мне и Генке правилось, но бывали вместе мы редко: с утра до вечера нас гоняли строевым по пустырю.

Занимались с нами вьедливые, как старухи, сержанты и старшины. Они покрикивали на солдат, показывали, как надо выполнять артикулы, сердились, когда у нас это не получалось. Мы с Генкой втихомолку посмеивались над ними, называли их за глаза «генерал-сержантами». Младшие командиры, видимо, догадывались об этом, гоняли нас больше других.

Я, наверное, воспринимал бы строевую подготовку как нужное и полезное дело и выполнял бы все указания «генерал-сержантов», если бы не встреча с сержантом-оружейником. Одной фразой он разрушил то, на что Казанцев потратил пять месяцев.

Строевая подготовка казалось теперь ненужной. Хотелось изучать винтовку, а еще лучше — автомат. Но на освоение огнестрельного оружия времени отводилось мало. Учение по тактике проводили один раз. Называлось оно: «Стрелковая рота в наступлении».

Мы рассыпались цепью и побежали на «противника» — туда, куда побежал, размахивая наганом, командир нашей роты — капитан с брюшком.

Бежал он не очень резво — я даже устать не успел. А капитан, видать, утомился.

— Ложись! — неожиданно крикнул он и плюхнулся на сухую, ломкую траву.

Отдышавшись, капитан стал подавать какие-то команды, но я его не слушал. Я наблюдал за дракой двух муравьев: рыжего — большого и черного — маленького. «Если победит черный, то я встречаюсь с Зиной», — решил я.

Победил черный. Настроение сразу поднялось. «Это, конечно, предрассудок, — подумал я, — но...» Стал рвать «головки» ромашек и гадать. «Любит» получилось два раза, «поцелует» — один, «к сердцу прижмет» — тоже один. «Плюнет», и «не любит», и «к черту пошлет» ни разу не получилось. Я повеселел еще больше.

«А как же Зоя?» — вспомнил я. И сердце стало разрываться на части.

Лежать было приятно: припекало солнце, обдувал ветерок. Но капитан не дал понежиться.

— Вперед! — крикнул он.

Мы побежали «вперед». Никто не воспринимал «про-

тивника» всерьез, все посмеивались над командиром роты — он вращал глазами, громко кричал, он, наверное, искренне верил, что «противник» где-то тут, близко, что вражеские солдаты могут прошить нас автоматными очередями или встретить гранатами...

Почти каждый день из нашего полка отправлялись на фронт маршевые роты. Меня и Генку в списки почему-то не включали. Я спустил весь жирок, накопленный в госпитале, снова превратился в жердь. Может, с голодухи, а может, от последствий контузии начались головные боли. В санчасти дали какие-то порошки, но от строевой не освобождали. Я топал по пустырю и проклинал все на свете. Как манны небесной ждал отправки на фронт, но... Мне надоело ждать, и я обратился к командиру полка с просьбой отправить меня на фронт.

Тучный подполковник с двойным подбородком буркнул:

— Все хотят на фронт.

Я вспомнил Гришку Безродного.

— Никак нет, товарищ подполковник, не все!

— Ты на что намекаешь? — побагровел подполковник. — У меня — астма! А ну, кру-гом! Ша-а-гом арш в казарму!

Я повернулся налево кругом и, отойдя, стал ругаться вслух.

— Боец, сюда! — Дежурный по части — начищенный, отутюженный, скрипящий ремнями старший лейтенант — поманил меня пальцем.

Злости во мне было столько, что я напоминал пороховую бочку. «Сюда» стало спичкой: до сих пор офицеры говорили солдатам «ко мне».

Я подошел к дежурному и ухмыльнулся.

— Как стоите? — рассвирепел старший лейтенант. — Бездельник! — Он произнес это слово с расстановкой, чеканя каждый слог.

Бездельник? Этого стерпеть я не мог. Мне и шестнадцати не было, когда я начал работать. Это произошло в эвакуации, в Тюмени. Я хотел стать токарем, но в отделе кадров завода, находившегося на окраине города, мне сказали, что токари не требуются и зачислили меня учеником строгальщика.

Цех, в котором я работал, напоминал ангар. Холод в нем стоял жуткий — руки примерзали к металлу. Я ду-

мал только об одном: согреться бы. Приходил «домой» — в полуподвал, где мы жили, выпивал кружку кипятка с тоненьким ломтиком хлеба и сразу заваливался спать, чтобы утром снова помчаться на работу: на КЗоТ тогда не обращали внимания, я работал наравне со взрослыми — по двенадцать часов в сутки.

Я вспомнил все это и возмутился:

— Вы ошиблись, товарищ старший лейтенант! Я не бездельник!

— Что-о?

— То, что вы слышали!

На лице старшего лейтенанта появились пятна, похожие на сигнальные лампочки.

— Караульный! — взревел он.

Прибежал сержант, придерживая рукой вложенный в ножны штык.

— Отведите на гауптвахту!

Командир полка влил мне десять суток строгача. На окнах — решетка. Горячее через день. Я вышел с «губы» присмирившим и голодным, как волк.

В день моего освобождения в полк приехали десантники. «Солдатское радио» сообщило — будут отбирать самых рослых и выносливых. Я подумал: «Меня не возьмут. Обнаружат последствия контузии — и не возьмут». И пожалел, что обращался в санчасть.

Страхи оказались напрасными. Врач-десантник постукал меня желтым, обкуренным пальцем по груди и произнес уверенно:

— Годен!

Майор — старший среди десантников — с любопытством посмотрел на меня:

— Чего ты, солдат, худой такой?

— Жратвы не хватает! — отчеканил я.

— Это дело поправимое, — весело сказал майор. — У нас с питанием — от пуза ешь... Километров пятьдесят с полной выкладкой пройдешь?

— Так точно! Даже больше пройду, если потребуется!

Ответ майору понравился. Моя судьба была решена.

Десантники «стояли» в лесу, километрах в шести от железнодорожной станции, находившейся на полпути между Москвой и Ивановом. Часто шли дожди, пахло пре-

лыми листьями и грибами, земля, покрытая толстым слоем побуревших иголок, мягко пружинила под ногами; попискивали синицы, какая-то птичка несмело выводила два-три коленца и тотчас смолкала. Сквозь оголенные ветки с остатками пожелтевших, начавших сморщиваться листьев виднелось небо, похожее на застиранную простыню. Осень все больше и больше вступала в свои права, но иногда выдавались на редкость солнечные дни с теплым ветерком, ласкающим лицо, и тогда откуда-то появлялись большие золотистые мухи; они садились во время перекура на потемневшие от пота гимнастерки и нежились, трогая лапками блестящие, как у стрекоз, крылья. Прежде я никогда не видел таких мух и гадал про себя — кусаются они или нет.

А ночью было прохладно. Я лежал лицом вверх, укрывшись до подбородка плащ-палаткой, под которую проникал вызывающий зевоту холодок, и думал, что до Москвы отсюда рукой подать, но, как говорится, близок локоток, да не укусишь. Мне хотелось снова повидаться с матерью. «Может быть, последний раз в жизни!» — мрачно подумал я: утром предстоял прыжок. Я не верил в то, что могу погибнуть, но все же думал об этом — мысль о смерти позволяла расслабиться, пожалеть самого себя.

О предстоящем прыжке мне сказали во время обеда, и до самого ужина я мысленно ругал себя за то, что согласился стать десантником. «Зато повар к тебе благоволит», — утешил я сам себя. Наш повар действительно ко мне благоволил, и я в благодарность за это выслушивал его байки, что кормить десантников по первой норме приказал сам Верховный.

— А десантироваться пойдем — шоколад выдадут, — утверждал повар.

«Житуха!» — радовался я. А теперь расплачивался за кашу с мясом и полбуханки хлеба на брата страхом. Я ненавидел себя, но ничего не мог поделать — страх был, как паутина.

Генка Волчанский, тоже «забритый» в десантники (я лежал с ним под одной плащ-палаткой), спросил:

— Дрейфишь?

— А ты?

— Есть немного.

«Все дрейфят», — приободрился я. Решил не думать о предстоящем прыжке, но долго не мог успокоиться:

перед глазами все время возникал мой труп с нераскрывшимся парашютом на спине. Потом, как это бывало и раньше, во мне «перегорело», нервная энергия иссякла, я почувствовал себя уверенней и не вспоминал о прыжке до тех пор, пока около нас не «приземлился» Файзула Касимов — разбитной, дерзкий на язык татарин. Держался он особняком. После отбоя исчезал куда-то.

— К бабам, наверное, шастает, — предположил Генка.

— Наверное, — согласился я.

Вскоре я стал думать по-другому.

Невдалеке от нашей части находилась деревня. Там были девчата, благосклонно относившиеся к десанникам. Солдаты частенько навевались к ним. Волчанский тоже решил «отметиться», пригласил меня, но я не пошел.

Вернулся Генка под утро. Залезая под плащ-палатку, произнес довольноно:

— Классные девчата!

Эти слова возбудили зависть, и, чтобы избавиться от нее, я стал думать о Зое и... Зине. Сам не знаю почему, но я уже давно думал о них одновременно. И ничего не мог поделать. Когда начинал думать о Зое, перед глазами появлялась Зина, когда мысленно разговаривал с Зиной, возникала Зоя.

У одинокой старухи, жившей на окраине этой деревни, кто-то украл козу Машку. И написал на двери сарая: «Ваша коза, бабуся, ушла служить в воздушно-десантные войска».

Старуха, понятное дело, подняла вой. Начальство переполошилось. Штабные офицеры вместе с командирами рот и взводными сновали по землянкам, пытливно всматривались в наши лица. А мы базарили. Одни восхищались остроумием жулика, другие называли его мародером. Файзула напевал вполголоса:

— Жил-был у бабушки серенький козлик...

Мне почудилась в его голосе фальшь, бравада, и я подумал: «Должно быть, он украл». Поделился с Генкой.

— Знаешь поговорку, — ответил он, — не пойман — не вор.

Это меня не убедило. Я стал относиться к Касимову с недоверием.

Когда Файзула «приземлился», я решил: «Неспроста». Он похлопал себя по карманам.

— Спичек нет?

— На! — Генка протянул ему коробок.

— В штаны еще не наложили?

— С чего бы?

— А прыжок?

— Иди ты, — беззлобно сказал Волчанский.

Файзула рассмеялся, стал раскуривать папироску, деля глубокие затяжки. Красноватый огонек осветил его лицо — толстогубое, скуластое, с тонкими нитями бровей.

— Пока вы — храбрые, — сказал Файзула. — Посмотрим, какими утром станете.

— Прыгнем, — отозвался Генка.

— А вдруг?

— Что?

— Вдруг парашют не сработает?

— У тебя сработал, а у нас нет? Брось пугать — не маленькие.

— Я и не пугаю, — произнес Файзула и стал рассказывать о парне, у которого оборвалась фала, соединяющая парашют с самолетом. — Шлепнулся тот парень — ни одной косточки целой.

«Этого еще не хватало!» — испугался я.

— В соседней роте тоже недавно случай был, — продолжал Файзула, сопровождая речь энергичными жестами, отчего огонек папироски то стремительно взлетал, то падал. — У одного парнишки основной не раскрылся. Думали — хана ему. А он сообразительным оказался — «запаску» раскрыл. Приземлился — белый весь. За находчивость ему благодарность объявили и в отпуск отправили. Ярчук его фамилия.

— Как, как? — воскликнул я.

— Ярчук, — повторил Файзула.

— Плотный такой?

— Ага.

— Он в Горьком служил?

— Вроде бы.

— Знаю его! — объявил я.

— Толковый парень, — сказал Файзула. — Сегодня ночью прибудет. Сегодня ночью у него отпуск кончается.

Из землянки — длинной, низкой, похожей на овощехранилище, вышел, скребя под мышками, командир нашего отделения сержант Божко, кряжистый, как пень, парень, с лицом изрытым оспой. К Файзуле сержант тоже относился с недоверием и даже сказал мне, что козу, наверное, украл он, Касимов.

— Почему так считаешь? — поинтересовался я.

— Больше некому, — сказал Божко. — Уж очень шустрый этот Файзула. За ним глаз да глаз нужен.

К Божко я проникся симпатией с первого дня. Когда нас, новичков, распределяли, командир взвода лейтенант Сорокин сказал:

— Служить будете в третьем отделении. Сержант Божко объяснит вам, что и как.

— Пошли, хлопцы, — буднично сказал сержант.

Подведя нас к землянке, он с гордостью объявил:

— Сами рыли.

Я спустился в землянку, по обе стороны которой смутно вырисовывались нары, сколоченные из плохо очищенных бревен, и сразу почувствовал: кусает кто-то.

— Вши? — спросил Генка.

— Вшей у нас нема, — обиделся Божко. — Блохи! Лично я на них — ноль внимания.

Сказав это, сержант сплюнул, выразив таким образом свое отношение к этим насекомым. «Увидел бы Казанцев», — подумал я и усмехнулся.

— Чего ты? — Божко посмотрел на меня.

— Старшину вспомнил.

— А-а... — Божко понимающе кивнул.

— Жгут! — воскликнул Генка, словно блошинные укусы доставляли ему удовольствие.

— Ага! — весело откликнулся сержант. — Те, у которых кожа послабже, не выдерживают — на воле спят.

Говорил Божко с нами, как равный с равными. Это понравилось мне: до сих пор сержанты и старшины, за редким исключением, не упускали случая показать дистанцию, которая отделяет их, младших командиров, от меня, простого солдата.

Я подружился с Божко — он привлекал меня степенностью, рассудительностью, умением ладить с людьми.

Я и Генка спали из-за блох на открытом воздухе. Божко часто присоединялся к нам. Глядя на посеребренные луной облака, говорил:

— А у нас на Украине небо другое.

— Лучше? — спрашивал я.

— Лучше, — твердо отвечал Божко.

— Зато у нас леса! — восклицал я.

— И у нас леса, — не сдавался сержант.

— Ну это ты того, привираешь, — недоверчиво произносил я. — Украина — это степь.

— И степь, и лес, и горы, — подхватывал Божко. — После войны приезжай в гости — сам увидишь. Я в Черниговской области живу. Там природа — поискать только. Варениками угощу.

— Вкусная штука?

Божко причмокивал.

— Вкусней их ничего нет!

Иногда он становился грустным, задумчивым, и тогда я понимал: он вспоминает свой дом, свое село, в котором не был несколько лет — когда началась война, Божко отбывал действительную.

— Из дома пишут? — интересовался я.

— Пишут, — отвечал Божко.

— Что пишут?

— Разное. Пишут, что немец сильно лютовал — до сих пор в землянках живут. После войны придется вкалывать засучив рукава. Шутка ли, все заново надо будет строить. Приеду домой — первым делом хату построю. Большую хату, намного больше той, что была. Если время будет, приезжай на новоселье.

— Обязательно! — пообещал я.

...Божко прислушался к разговору, хмыкнул, потом сказал:

— Не робейте, хлопцы!

— Эх, сержапт! — огорчился Файзула. — Не дал пощупать ребятишек. Знать хочется, с кем восвать придется. Не люблю пугливых — на овец похожих.

— Или на козу, — спокойно произнес Божко.

Наступила тишина. Было слышно, как скрипят сосны и шелестит потревоженная ветром сухая листва.

— Это еще доказать надо, — возразил Файзула. Я определил по его голосу — он усмехается.

— Сукин ты сын! — воскликнул Божко. — Совести у тебя — кот наплакал.

— Зачем ругаешься? — обиделся Файзула. — Доложи, кому следует, только не ругайся.

— Если грешен, сам признайся! — сказал Божко.

Закончить разговор не удалось — кто-то крикнул:

— Шухер!

Из-за деревьев показался взводный. Днем он щеголял в полной форме, а сейчас на нем белела, выделяясь в темноте, нательная рубаха. Эта нательная рубаха с завязочками вместо пуговиц превращала лейтенанта в такого же солдата, как и мы.

— О чем разговор, хлопцы? — спросил Сорокин.

— За жизнь калякаем, — ответил Божко и кашлянул, предупреждая нас — молчок, мол.

— Ну и как она, жизнь?

— Идет помаленьку, — не меняя интонации, проговорил Божко. И снова кашлянул. — Касимов новичков просвещает.

— Храбрые новички, товарищ лейтенант! — вступил в разговор Файзула. — С любой высоты, хвастают, сиганем.

— Прыгнут! — Командир взвода кивнул. — Комбриг приказал не тянуть с этим делом.

— Значит, скоро? — оживился Файзула.

— Что?

— Десантироваться? Правильно я понял, товарищ лейтенант?

— Может, правильно, а может, нет.

Уклончивый ответ распалил ребят. Посыпались вопросы:

— Куда сбросят?..

— Когда?..

— Всех или?..

— Стоп, хлопцы! — Сорокин поднял руку. — Я же не пророк. Получим приказ — узнаем. А сейчас спать!

Когда лейтенант ушел, Божко сказал:

— Человек — наш взводный!

— Толковый, — согласился Файзула. — Говорят, в солдатской лямке ходил.

— Два года, — подтвердил Божко. — Потом его на офицерские курсы определили. Солдаты для него, что дети для отца.

«Верно, — подумал я. — Он хоть и взводный, но свой в доску». И еще я подумал, что ВДВ — так сокращенно назывались воздушно-десантные войска — отличаются от других войск не только сытным пайком, но и отсутствием строевой. Ее заменяет тактика, изучение стрелкового оружия. Две недели, проведенные в ВДВ, дали мне гораздо больше, чем месяц службы в Горьком. Я уже неплохо стрелял (из десяти возможных выбивал шесть), научился владеть финкой. Финка, вложенная в ножны, болталась на ремне. Я даже спал с ней. Финки выдавались всем десантникам.

— По личному указанию Верховного, — объяснили нам в первый же день.

Верховного десантника вспоминали часто. Говорили о нем с нотками снисходительности, как говорят взрослые дети о своих отцах. Божко утверждал, что каждый десантник может в любое время обратиться к Верховному.

— У него на письменном столе списки всех десантников, — утверждал Божко.

— И мы в них? — спросил Генка.

— Конечно!

«Вот это да!» — удивился я, хотя и не поверил.

Ветер утих. Стал накрапывать дождь. «Завтра утром, — снова подумал я. — Завтра шмякнусь — и прощай Зоя». Попытался представить, как она будет плакать, но ничего не получилось — все время возникало Зинино лицо: она улыбалась мне, а я, помимо воли, ей.

Генка тоже не спал. «Хорошо бы дождь до утра не кончился», — помечтал я: в ненастную погоду прыжки отменялись...

Проснувшись, я увидел небо — сплошную синь. «Значит, прыгать». — И я загрустил.

После завтрака Божко сказал:

— Айда, хлопцы!

Мы влезли в кузов полуторки и поехали на аэродром. Машина часто останавливалась, принимая новых и новых пассажиров — тех, кому предстояло прыгать. Дорога петляла по лесу, как убегающий уж. Потом грузовик покати по полю — туда, где выделялись контуры «дугласов», с которых, как сказал Божко, нам придется прыгать недели через две.

Машина остановилась метрах в десяти от «дугласов», около аэростата. Десантники называли его «колбасой». Под «колбасой» покачивалась огромная корзина с узкой дверцей.

Мы слонялись вокруг «колбасы». И, должно быть, напоминали щенят, в которых страх борется с любопытством. Генка потянул рукой трос, свитый из тоненьких проволок.

— Не балуй! — рявкнул крепыш в комбинезоне, с лычками младшего сержанта на погонах.

Крепыш обернулся, и я узнал Ярчука. На его груди блестела медаль «За отвагу».

— Здорово!

— Какими судьбами? — Ярчук выкатил глаза.

— Вторую неделю тут. Сразу после госпиталя.

— Значит, повоевал?

— Повоевал. А ты, вижу, не только повоевал, но и отличился?

— Было. — Ярчук чуть выпятил грудь.

— А Фомин где?

— Воюет.

— От Кольки Петрова не приходило письмо на мое имя?

— Приходило, приходило! Оно у старшины хранится.

— Кстати, как он? И Старухин, Паркин — что с ними?

— Когда уезжал, на месте были. Старухин, слышал, на фронт собирался. Казанцев тоже рапорт накатал. А Паркин подлизывается к Коркину.

— Тоська по-прежнему ворует?

— Поприжали ее. Казанцев постарался. Дотошный, доложу тебе, мужик! — В голосе Ярчука прозвучало одобрение.

— Слушай, — я доверительно склонился к нему, — не страшно прыгать?

— Прыгнешь — узнаешь.

— А ты прыгал?

— Еще бы! Двенадцать раз. Недавно инструктором стал. Ведь из радиополка меня прямо в ВДВ направили. Я и радистом могу. — Ярчук вынул папироску, сделал глубокую затяжку и зычно крикнул: — Добровольцы есть?

Вышли три парня. Ярчук скользнул по их лицам взглядом:

— Надевайте парашюты!

Парни надели парашюты, направились гуськом к корзине. Ярчук смял в пальцах окурки и двинулся следом. Когда ребята разместились, крикнул:

— Давай!

Лязгнула лебедка, «колбаса» стала набирать высоту. Трос кончился, и она застыла в воздухе, как собака на поводке. Прошло несколько минут. И вдруг я увидел: из корзины вывалился человек. Внутри все сжалось. В это время от человека отделилась белая полоска. Прошло еще несколько секунд, и раскрылся парашют.

Когда ребята приземлились, «колбаса» спустилась, и Ярчук, не вылезая, крикнул:

— Следующие!

— Давайте, хлопцы, — Божко кивком показал мне и Генке на корзину.

Меня охватила паника, но я не поддался ей, влез в корзину, присел на корточки в углу. Напротив меня расположился Генка.

— Еще одного! — крикнул Ярчук.

Кто-то прижался к моему плечу.

— Давай! — снова лязгнула лебедка. Корзина раскачивалась. «Снизу это незаметно», — подумал я и вцепился рукой в борт.

Ярчук усмехнулся.

— Кто первым?

Все промолчали.

— Тогда ты! — Ярчук показал на меня.

Я натянуто улыбнулся.

— Давай, давай, — поторопил Ярчук.

— Голова разболелась, — попытался схитрить я.

— Это ничего. — Ярчук открыл дверцу и...

Все случилось так быстро, что я не успел сообразить. Соображать я стал уже в воздухе, когда раскрылся парашют. Я вспомнил: надо подтянуться на стропах. Обхватил их руками, сложил, как учили, ноги и стал ждать. Увидел ребят, задрывших головы. Ветерок обдувал лицо. Было приятно.

Приземлился я на пашню. От радости забыл отстегнуть парашют. Сел на разопревшую от жары землю и заорал во всю глотку:

— И-го-го!

Налетел ветерок. Купол парашюта наполнился воздухом, меня поволокло по пашне. Я «погасил» парашют и почувствовал себя десантником...

С «колбасы» мы прыгали еще несколько раз. Ярчук спрашивал:

— Сам прыгнешь или?..

— Сам! — отвечал я и смело подходил к дверце.

Предстояли прыжки с самолета. Все утверждали — это посложней.

— Главное, Жорка, не робей и о «запаске» помни, — напутствовал меня Божко. — А то многие теряются и тогда — похоронный марш.

Прыгнуть с самолета не пришлось. Накануне прыжка бригаду подняли ночью по тревоге, погрузили в теплуш-

ки и отправили на фронт. Мы думали, что будем десантироваться. Но нас привезли в Венгрию и сказали:

— Отныне вы пехота!

Файзула выругался, а я сказал себе: «Теперь лишь голубая окантовка на погонах будет напоминать нам о прыжках, о тактических учениях — о том, что совсем не похоже на фронт».

24

Мы шли по шоссе, по которому еще совсем недавно грохотала война. Об этом свидетельствовали выбоины, воронки, подбитые танки с поникшими стволами, обгоревшие автомашины на обочинах и другая военная техника, или нуждающаяся в основательном ремонте, или превращенная в металлолом. Наша гвардейская бригада шла сменять полк, от которого осталось совсем немного бойцов. Нас обгоняли полуторки и трехтонки с грузом, накрытым брезентом, навстречу медленно двигались, щупая помятыми радиаторами побитый асфальт, автобусы с красными крестами на боках и самые обыкновенные грузовики, в которых сидели и лежали перевязанные бинтами солдаты и офицеры. Я понял, что там, впереди, идет бой, и удивился, потому что не услышал ни орудийных раскатов, ни треска автоматных очередей — того, что говорило бы о близости переднего края.

За поворотом, который прошла наша рота, шоссе разделилось, и я, наконец, догадался, что бой идет там, куда сворачивают грузовики: именно оттуда появлялись санитарные машины и тянуло гарью. Дорога, по которой топтали мы, была безлюдной и вела в другую сторону, круто взбиралась на пригорок, поросший лесом. То, что мы свернули, удивило меня; я поделился своими мыслями с Волчанским — он, балагурия, шагал рядом.

— Начальству видней, — ответил Генка и, прижав большой палец к ноздре, высморкался.

«Наверное, нас в резерв гонят», — решил я, не очень-то веря в это: после выгрузки нам сказали, что, может быть, даже сегодня нашей роте придется отражать атаку.

Так мы топали часа полтора. Потом асфальт неожиданно оборвался, железные пластинки на подошвах наших сапог зацокали по булыжнику — в щелях между ним пробивалась жесткая, уже потерявшая свои соки трава — та, что в любую дырку пролезет, было бы где корни пустить.

Война обошла стороной эту дорогу, решающие бои, должно быть, проходили в другом направлении. Травка на дороге, красивые лужайки, прозрачные ручейки, пересекающие шоссе, — все это подтверждало: порохом тут не пахло.

По левой стороне простиралось сжатое поле, похожее на остриженного наголо солдата, справа был лес, в котором клены и дубы стояли вперемежку с низенькими соснами, какие встречаются только в горах. Зарослей и кустарников в лесу не было — одни лужайки. Птицы, наверное, не вили тут гнезд, потому что они любят чащи, где можно укрыть свой «дом» и свое потомство от посторонних глаз.

— Воооз-дух!

Я вздрогнул и в первое мгновение не понял, что обозначает этот возглас. Я начал соображать, когда над лесом, почти касаясь макушек деревьев, появился «мессер», и угрожающий рев сотряс воздух. Прыгнул в кювет и затаился. Над головой просвистели пули, вонзились в землю совсем близко от меня. Шум мотора стих. Я хотел выбраться, но в это время «мессер» стал делать второй заход, и я остался лежать в кювете. Земля была сухой и пахла совсем не так, как должна пахнуть земля. Я решил, что эта земля — не наша родная земля, и поэтому она пахнет по-другому. В жизни все происходило наоборот: тогда, полгода назад, я ждал, что «он» налетит, но «он» не налетел, а теперь, когда я не думал об этом, «он» чуть было не оборвал мою жизнь.

Сделать второй заход «мессеру» не удалось: с низкого и тяжелого неба на него свалился наш истребитель, стал гоняться за фашистским самолетом, пока не пристроился к нему в хвост. «Мессер» покачнулся и свечой пошел вниз, оставляя за собой черный след; чернота расплывалась, постепенно теряла зловещую густоту. Наш истребитель круто взмыл вверх — туда, где, словно вода в глубоком колодце, виднелся голубой квадратик неба.

Я выскочил из кювета и, размахивая пилоткой, закричал «ура». Мой голос потонул в радостных воплях. Мы устремились в ту сторону, куда упал фашистский самолет, но окрик командира роты вернул нас назад, и я только тогда увидел, что среди убитых и раненых лежит на дороге и наш взводный. Его шинель была продырявлена пулями, на спине расплывалось кровавое пятно. Кровь капала на булыжник, стекала с его гладких, будто отполированных боков, земля жадно впитывала кровь лейтенанта. Я не сразу сообразил, что Сорокин убит, а когда понял это, то пер-

ВЫМ делом подумал, что мне крупно повезло: я шел от лейтенанта шагах в трех и, если бы не сиганул в кювет, наверное, лежал бы сейчас, бездыханный, на шоссе. По телу побежали мурашки, появилась слабость в коленях. И я заплакал. Мне было стыдно, но я ничего не мог поделать — слезы сами катились из глаз.

— Кончай! — рассердился Божко.

Я отвернулся и, продолжая плакать, стиснул зубы.

— Кончай! — чуть мягче повторил Божко. И добавил: — Это только начало.

— Нет! — истерично выкрикнул я.

Божко повернулся к Волчанскому:

— Дай ему воды, а то утопнем в его соплях.

Как ни странно, эти грубые слова успокоили меня — я даже от воды отказался.

Наш взвод сгрудился вокруг своего командира. Глядя на него, мертвого, мы молчали. Подошел ротный. Опустившись на одно колено, снял с лейтенанта плащетку, вынул из карманов документы. Обратившись к Божко, сказал:

— Похороните его.

Кроме Сорокина, наша рота потеряла еще двоих, раненых было шесть, и когда я узнал об этом, то снова почувствовал слабость в коленях.

Божко молча сунул мне лопату, и я вместе с другими ребятами стал рыть могилу. В глубине земля была чуть влажной красноватой. Мне почему-то казалось: это отсвечивает кровь лейтенанта.

Божко отвернулся, потер глаз. «И он, — подумал я. — А еще кричал на меня», — и, показывая свое великодушие, сказал:

— Не расстраивайся!

— Соринка попала, — пробормотал сержант.

«Рассказывай!» — не поверил я.

Ярчук принес плащ-палатку — не новую, б/у, выпрошенную у старшины роты, расстелил ее на земле, расправил все складки, словно это имело какое-то значение.

— Бери его за ноги, — распорядился Божко.

Я не понял, к кому он обращается, на всякий случай спросил:

— Это ты мне?

— А то кому же! — рявкнул сержант.

Тело лейтенанта показалось мне налитым свинцом. Я чуть не выронил труп.

— Осторожней! — предупредил Ярчук.

Мы положили лейтенанта на плащ-палатку, и Божко вместе с Волчанским стали хлопотать над ним. Потом мы бережно, ворча друг на друга, опустили труп в могилу, и каждый бросил в нее горсть земли.

— Запомним это, ребята! — громко сказал Ярчук.

Файзула усмехнулся — он стоял около меня с непонятым выражением лица. Я покосился на него, решил, что эта усмешка — в мой адрес. Мне было стыдно за свою слабость, и, чтобы как-то реабилитировать себя в глазах других и в первую очередь Файзулы, я выругался.

Божко посмотрел на меня, но ничего не сказал. Это ободрило меня, и я выругался снова.

Файзула тоже выругался и, не меняя непонятого выражения на лице, добавил:

— Лейтенанта убили и тебя, быть может, убьют, а меня — никогда.

— Почему?

— У меня амулет есть.

Я подумал, что Файзула малость чокнулся.

— Закругляйтесь! — крикнул командир роты.

— Еще три минутки, товарищ старший лейтенант, — сказал Божко. — Колышек вобьем. Разрешите?

Командир роты кивнул. Божко подошел к клену, срезал сук, отчистил его от коры, снял погон, извлек из него фанерную дощечку. (Такие дощечки вкладывались в погоны, чтобы они не мялись.) Помусолив огрызок химического карандаша, сержант написал на дощечке фамилию лейтенанта и поставил две даты. Расщепив сук, втиснул в него дощечку, воткнул все это в холмик. И сказал:

— Живыми останемся — памятник поставим!

После этого мы построились и снова пошли туда, где нас ожидали бойцы, которых нам предстояло сменить. Я оглядывался до тех пор, пока не исчез за поворотом холмик с табличкой, на которой было выведено: «Лейтенант Сорокин А. А. 1922—1944».

Он был всего на четыре года старше меня. У него, наверное, тоже есть мать и любимая девушка или, быть может, жена. Спросил об этом Божко — он шел, насупившись, глядя себе под ноги.

— Не знаю! — отрезал сержант. — Сорокин не докладывался мне.

Я не обиделся на сержанта — понял, почему он грубит. Дорога была однообразно длинной и утомительной. Меня уже не радовали ни лужайки, ни сосны, вцепившиеся корнями в каменистый грунт. Облака раздвинулись, появилось солнце. В пинели стало парко. Волчанский ослабил ремень, расстегнул ворот:

— Топаем и топаем... Когда же конец?

«В самом деле», — согласился я и вдруг услышал треск автоматной очереди, доносившейся откуда-то издали. Посмотрел на Волчанского. Генка округлил глаза.

От дороги отделилась едва заметная тропинка, узкая и извилистая. Она вела в парк, обнесенный металлической изгородью.

— Гуськом! — скомандовал командир роты.

Чем ближе мы подходили к парку, тем явственней чувствовалась близость передовой: виднелись воронки, изгородь во многих местах оказалась поваленной, в ее каменном основании зияли, обнажая красный кирпич, похожие на раны дыры.

Тропинка круто свернула вправо, а мы пошли напрямик к пролому в изгороди. Навстречу нам вышел офицер в поношенной телогрейке. Козырнув командиру роты, он сказал:

— Заждались. Первая и третья уже подошли. — Голос офицера был хриплый, простуженный.

— «Мессер» налетел, — ответил командир роты. — Двух бойцов и офицера потеряли, шестерых ранило.

Офицер промолчал, и я решил, что это его ничуть не удивило, потому что такое он видит каждый день.

Офицер приказал не шуметь и повел нас в парк. Липы и кусты давно не подстригались, и если бы не полуразвалившиеся гrotы, встречавшиеся на пути, не обветшалые мостики, перекинутые через кристально-прозрачные ручейки, то я решил бы, что мы в лесу.

Подведя нас к кустам шиповника, оцетинившимся колючками, офицер сказал, обратившись к командиру роты:

— Вот оно — хозяйство ваше.

В центре кустов, замаскированная ими, начиналась траншея.

— По одному! — скомандовал ротный.

Я спрыгнул в траншею, оказавшуюся очень глубокой, и пошел след за Божко. Через каждые десять-пятнадцать метров от траншеи отделялись окопы. Возле них стояли солдаты с автоматами на груди, очень похожие друг на

друга. Они показывали жестаами, куда идти. Иногда мы останавливались, прижимались к стенам траншеи, пропуская идущих навстречу бойцов с повязками на почерневших лицах, в гимнастерках с оборванными пуговицами. Они молча кивали нам, мы — им.

25

Первое и второе отделения направились прямо, а мы свернули в окоп и петляли до тех пор, пока не очутились около блиндажа, устроенного под кустарником. Божко откинул плащ-палатку, заменявшую дверь:

— Есть кто?

— Есть, есть, — отозвался чей-то ужасно знакомый мне голос, и из блиндажа вывалился Лешка Ячко с запавшими глазами, щетиной на лице, с обгоревшими бровями. Ворот его гимнастерки с надорванным рукавом, зашитым грубыми стежками, был растегнут, виднелась коричневая от загара шея с подтеками грязи.

— Лешка!

— Ба, ба, ба, — проговорил Ячко, растягивая в улыбке рот.

— Лешка! — Я не в силах сдержать радость, толкнул его в грудь.

Лешка тоже толкнул меня.

— Вот уж поистине: гора с горой...

— Я сам только что думал об этом! — перебил я

Мы снова потолкали друг друга, бормоча что-то.

— Земляк? — спросил Ярчук.

— Нет, — откликнулся я. — В госпитале вместе лежали.

— Ясно. — Божко кивнул. — У солдата сейчас один путь: передовая — госпиталь, снова передовая и снова госпиталь.

— На этот раз обошлось! — Лешка рассмеялся. — На переформировку отправляют. Мне, хлопцы, до смерти хочется в баньке попариться, покомарить минут шестьсот и поиграть с красивой женщиной.

— Это хорошо, — подал голос Генка.

— Это хорошо, — как попугай, повторил я.

Ячко перевел взгляд на меня:

— Кстати, как у тебя на сердечном фронте?

— Полный порядок!

Ячко кивнул, но я по его глазам понял — не верит. Повернувшись к Божко, Лешка спросил:

— Вместо нас, значит?

— Точно,— подтвердил сержант.

— Даже не верится.— Ячко снова рассмеялся.— Располагайтесь, хлопцы, да только поживее — в шестнадцать ноль-ноль «он» дает прикурить.

Лешка произнес эту фразу с презрительной интонацией. Он, видать, был невысокого мнения о здешних фрицах, которые «прикурить» давали по расписанию.

— Прощай! — Лешка стиснул мою руку.— Может, свидимся еще раз, если живыми останемся.— Он вскинул на плечо автомат стволом вниз и добавил, обведя взглядом ребят: — Удачи вам, хлопцы!

— Погоди,— остановил его Божко.— Поподробней расскажи — что тут и как?

— А что рассказывать-то? — Лешка усмехнулся.— В шестнадцать ноль-ноль все сами узнаете. Иной раз «он» такой сабантуй устраивает, что тошно становится. Только и мы — не дураки. Зарылись, как кроты,— выкури-ка!

Божко с видом знатока посмотрел на блиндаж:

— Крепкий!

— Крепкий,— согласился Ячко. И спросил: — Верно, что вы десантники?

— Точно! — Сержант ткнул пальцем в голубую окантовку.

— Ну тогда выстояте! — сказал Лешка.— Десантники, я слышал, народ отчаянный.

— Конечно, отчаянный! — Файзула ухмыльнулся.

— Про козу вспомнил? — подкузьмил Божко.

Мы рассмеялись.

Ячко обвел нас недоумевающим взглядом. Божко кивнул на Касимова и пояснил:

— Он у нас специалист по мелкому рогатому скоту.

— Понятно.— Лешка улыбнулся.— Башкиры, говорят, любят козлятину.

— Татарин я,— поправил Файзула.

— У меня лишь один пунктик — фашисты,— сказал Лешка.— А так я все нации люблю и уважаю. До войны с узбечкой крутил. Восточная женщина, доложу вам, кому хочешь, нос утрет.

— Заливаешь,— не поверил Файзула.— Мусульманка с неверным не пойдет.

— Вру, значит? — Лешка пошевелил бровями.— У Саблина спроси, вру я или нет.

— Не врет,— сказал я.— Лешка Ячко — специалист по женской части.

— Все мы специалисты,— самолюбиво вставил Волчанский. И неожиданно спросил Лешку: — Скажи, друг, вши тут водятся?

— Вопрос! — В Лешкином голосе прозвучало недоумение: как же, мол, так — в окопе и без вшей.

Генка выругался, а я тотчас стал почесываться, хотя меня вроде бы никто не кусал.

— Ладно, ребятки, потолковали и — хватит,— спохватился Ячко. Он еще раз попрощался со мной, пожал всем руки и скорым шагом направился туда, откуда только что пришли мы.

— Во чесет! — воскликнул Файзула.

— Придержи язык,— обернулся к нему Божко.— Ты бы не так, наверное, бег, если бы пробыл тут столько же.

Я запоздало пожалел, что не узнал у Лешки про врачаху, Елену Викторовну, и решил: «Он все равно ничего не рассказал бы — хоть раскаленным железом жги». Вспомнил Карасиху, Надю — она уже стала позабываться — и огорчился, что сплеховал тогда.

— Пошли в блиндаж,— сказал Божко.— А Касимов пусть на часах побудет — мало ли что.

В блиндаже было темно. Божко, светя карманным фонариком, осмотрел хозяйским глазом толстые, похожие на канализационные трубы, бревна и, не скрывая восхищения, объявил:

— Не блиндаж — сказка!

Мне в блиндаже не понравилось: темно, сыро, пахнет плесенью. Я выбрался наружу, подошел к Касимову:

— Взгляни-ка, сколько на твоих серебряных?

Файзула вынул из кармана часы.

— Десять минут пятого.

«Немцы пронюхали, что пришли мы, десантники, и струхнули», — решил я, пыжась мысленно от собственной значимости. Хотел потолковать с Файзулой, но в это время раздался противный вой, и позади нашего окопа шлепнулась мина. Кусты на мгновение наклонились, плащ-палатка, закрывающая вход в блиндаж, наполнилась, как парус, воздухом.

— Тикай в блиндаж,— сказал Файзула.

— А ты?

— Я не боюсь.

— Почему?

— Потому, что оканчивается на «у», — на лице татарина снова появилось то непонятное выражение, на которое я обратил внимание, когда мы хоронили Сорокина.

Войдя в блиндаж, я присел на нары и стал вслушиваться во все нарастающий вой, вздрагивал, когда мина падала недалеко от укрытия. С потолка сыпались песок и труха.

Наш блиндаж походил на погреб. Лишь узенькая полоска света проникала к нам сверху — оттуда, где колыхалась плащ-палатка. Лица ребят я различал смутно, не мог определить — трусят они или нет.

Громыкнуло над головой. Бревна шевельнулись, будто живые, на голову полился тонкой струйкой песок. Я пересел на другое место и подумал, что блиндаж этот не такой уж надежный.

— М-да... — пробормотал, ни к кому не обращаясь, Волчанский. и я определил по его голосу, что он дрейфит, но не осудил Генку: он только принимал боевое крещение, а я прожужжал всем уши, рассказывая, как ходил под прикрытием «тридцатьчетверок», и сейчас каялся в этом, потому что сейчас мне приходилось «держат хвост пистолетом».

— Это еще буза на постном масле, — пугнул я Генку и тем самым прибодрил себя.

Волчанский с шумом вобрал в нос воздух.

— А нехристь все еще там? — Божко осветил фонариком наши лица.

— Угу. — Я показал рукой на потолок.

Божко выругался и крикнул:

— Касимов?

— Ну? — откликнулся тот.

— Сыпь сюда!

— Зачем?

— Сыпь, тебе говорят!

Когда Файзула спустился, Божко спросил, нахмурившись:

— Тебе что, жить надоело?

— Не боюсь я, — начал Файзула. — У меня...

— Слышали! — оборвал его Божко.

Обстрел продолжался минут десять, а потом немцы пошли в атаку. Они приближались короткими перебежками, стреляя из автоматов. Среди деревьев замелькали их фигуры в длиннополых зеленовато-серых шинелях, туго перехваченных ремнями.

— Огонь! — скомандовал Божко.

Я прицелился в грузного немца — он бежал вперевалочку, — но промазал. Наверное, сильно волновался. Пилотка все время наползала на глаза, и я подумал не к месту, что у меня, длинного, маленькая, непропорциональная росту голова.

Одна из пуль сбила пилотку. От неожиданности я присел. Божко покосился на меня.

— Кажется, ранило. — Я стал ощупывать голову: «Неужели по новой в госпиталь? Опять повоевать не пришлось».

— А ну покажь! — Сержант подошел ко мне.

Я наклонился. Божко взглянул на мою макушку, строго сказал:

— Даже царापинки нет!

С левого фланга ударил пулемет, ему ответил другой — с правого фланга, и немцы стали отходить.

Как только бой стих, в наш окоп спрыгнула девушка-санструктор в пилотке, чудом державшейся на пышных коротко остриженных волосах, с брезентовой сумкой через плечо, ефрейторскими лычками на погонах и медалью «За отвагу» на высокой, не по-девичьи развитой груди.

— Раненые есть?

Божко усмехнулся, посмотрел на меня.

«Молчи, молчи», — взмолился я.

Божко снова усмехнулся. Повернувшись к девушке, произнес:

— Все, как огурчики!

— Давайте, знакомиться, огурчики, — весело сказала девушка. — Люда, ваш санструктор.

— Очень приятно! — Генка достал гребешок, подул на него, расчесал бачки.

Люда задержала на нем взгляд, и я решил, что Генкины бачки произвели впечатление.

— Ужинать давайте, — сказал Божко и пригласил Люду в блиндаж.

— Интересная девушка, — задумчиво проговорил Волчанский.

Я мысленно не согласился с ним — Люда мне не понравилась. Ее лицо ничем не отличалось от сотен других женских лиц. Все вроде бы было на месте: нос, рот, глаза и в то же время в этой девушке чего-то недоставало — того, наверное, что было у Зои и... Зины.

Мы грызли сухари, намазанные тушенкой, и слушали Люду. Она, оказывается, воевала в этих краях уже три

месяца, теперь их медсанбат передали нашей бригаде. Генка откровенно ухаживал за Людой, а я думал: «Он ни черта не разбирается в женской красоте», — представлял, какой фурор произвела бы на ребят Зоя.

Все посматривали на Людину медаль — ни у кого из нас, кроме Божко, не было боевых наград. Генка не выдержал и спросил:

— За что получила?

Люда поправила медаль — она чуть ли не лежала на груди перпендикулярно к телу:

— За раненых. Двенадцать бойцов вынесла.

«Молодец!» — похвалил я Люду про себя и подумал, что Зоя, наверное, поступила бы так же. «И Зина», — неуверенно добавил я.

— Касимова опять нет? — нарушил ход моих мыслей Божко.

— Здесь я, — отозвался Файзула и, откинув полог, вошел в блиндаж.

— Где тебя черти носят?

Вместо ответа Файзула бросил на нары пачку немецких документов — солдатские книжки, письма, какие-то удостоверения.

Я удивился, а Божко спросил, мотнув головой в сторону:

— Туда лазил?

— Туда.

— Чего еще принес?

— Все, — сказал Файзула.

— Эх, — огорчился Волчанский. — Хоть бы часики приватил или зажигалку.

— Этим делом не занимаюсь! — отрезал Файзула.

— Ну? — недоверчиво откликнулся Божко. — Козу увел, а на часики не польстился. Не верится что-то.

— Твое дело, — сухо произнес Файзула. И добавил: — Козу, между прочим, я тоже не трогал. К девчатам в деревню ходил — это было, а козу Машку и в глаза не видел.

— Врешь! — не поверил Божко.

— А зачем мне врать-то? — возразил Файзула. — Если бы это мой грех был, я признался бы — все равно дальше фронта никуда не отправят.

— Это так, — согласился Божко. — Зачем же ты темнил тогда?

Файзула усмехнулся.

— Не люблю оправдываться. Пусть, решил, считают, что коза — моих рук дело.

— Кто ж в таком случае увел ее? — растерянно произнес Божко.

— У меня в каждой роте дружки-приятели, — сказал Файзула. — Через них узнал — десантники тут ни при чем. Под нашу марку кто-то сработал. Скорее всего, шпана из соседнего города.

Я вспомнил о жулике, укравшем у меня продовольственные карточки.

— Стрелять таких надо!

— Верно. — Файзула кивнул.

В блиндаже был полумрак. Пламя на самодельной, почерневшей от дыма коптилке сильно чадило. Божко поправил лезвием перочинного ножа фитиль, вполголоса сказал что-то. Люда повернулась к Файзуле:

— А если бы убили тебя?

Файзула ухмыльнулся:

— Меня не убьют. У меня вот это есть. — Расстегнув ворот, он показал нам медный кружочек, болтавшийся на шее. — Этой штучке цены нет. Она от пуль и осколков бережет.

— Брехня! — рубанул Божко.

— Проверено, — спокойно ответил Файзула.

— Все равно брехня!

Люда попросила показать амулет, и Файзула неохотно снял его с шеи. Мы склонились, касаясь головами друг друга, над позеленевшим от времени кружочком с дыркой посередине. От Люды пахло махоркой, и это почему-то огорчило меня.

— Откуда у тебя эта штука? — спросил Генка, разглядывая амулет.

— Одна татарка дала, — ответил Файзула. — Раньше, сказала, это от стрел предохраняло, а теперь...

— Сказки! — перебил Божко.

— Зачем говоришь так? — воскликнул Файзула и стал рассказывать о самом первом и самом страшном в его жизни бое, когда, благодаря этой штучке, он уцелел.

— Поздно уже, — сказала Люда и стала прощаться.

Генка пошел ее провожать.

На следующий день все повторилось: снова заседали немцы, снова лазил на «нейтралку» Файзула, снова приходила к нам Люда.

И так каждый день.

Я уже не вздрагивал, когда начинался обстрел, не испытывал прежнего страха. Размышляя об этом, вспоминал пойманного в детстве скворчонка. Первое время он втягивал голову в туловище и ничего не ел, потом освоился, не улетал в открытое окно.

Но страх все-таки оставался, он обитал где-то внутри, вызывал мрачные предчувствия, заставлял злиться на самого себя. Я не выдержал и признался Божко.

— Не затуманивай мозги,— успокоил меня сержант.— Только дураки ничего не боятся. Я по третьему заходу воюю — и все равно страшновато. Это, как бы тебе половчей сказать, естество себя проявляет.

— А Файзула? — вспомнил я.

— Что Файзула? — Божко помолчал.— Суеверный он. Повесил на шею медяшку и думает — ничего не случится.

Разговор с сержантом приободрил меня. Наблюдая за ребятами, я убеждался — они тоже испытывают страх, только не показывают его. «Страх — одно, трусость — другое», — рассуждал я. И чувствовал: правильно рассуждаю.

Подходила к концу третья неделя пребывания на фронте. В окопы намело листьев — они лежали там толстым слоем. После боя, когда спадало нервное напряжение, хотелось зарыться в эти листья и спать, спать, спать — в блиндаже мне по-прежнему не нравилось. Нежно-желтые кленовые листья лежали и на воде — в искусственных водоемах. Таких водоемов с берегами из дикого камня в парке было много, а сколько — я не считал. Осенняя, уже потерявшая свою свежесть трава была выжжена. Во время обстрела, когда на нее шлепались мины, она начинала гореть. Огонь перебегал с травинки на травинку, сухие стебли вспыхивали маленькими факелами, а те, в которых еще оставались соки, горели медленно, фиолетовым пламенем. Весь парк был покрыт черными пятнами, трава уцелела лишь у водоемов. Многие деревья были расколоты, обезображены. Кора свисала с лип, словно кожа, в расщепленных стволах виднелось розоватое нутро. Изредка в парк залетали какие-то птицы, покружнее воробьев, с тон-

кими и длинными, похожими на шило носами. Они рассаживалась на не тронутых огнем деревьях, начинали чистить перышки, переговариваясь на своем птичьем языке; стремительно срывались с места и исчезали, когда раздавался случайный выстрел или начинался обстрел. Кроме этих птиц, я видел один раз мыш-полевку: она стояла на задних лапках недалеко от нашего окопа, приплюсывалась, устремив узкую мордочку в сторону особняка. Ее, видимо, тревожил дым: в тот день, гонимый ветром, он стелился по земле. Этот красивый парк, в котором когда-то устраивались гулянья, был сейчас изрыт окопами, из воронок несло протухшей водой. Глядя на выжженные газоны, обезображенные деревья, я, не переставая, думал: «Война может разрушить и исковеркать за короткий срок то, что человек создавал десятилетиями».

Первые две недели было тепло, а потом начались заморозки. Все говорили, что скоро выпадет снег. Однако он не выпадал: стояли на редкость погожие дни — те дни, когда воздух прозрачен и свеж, небо радуется голубизной, по утрам все тихо и спокойно, словно нет войны, и отбитая накануне атака воспринимается как дурной сон. В нашем блиндаже густо пахло солдатским жильем: махоркой, отсыревшими портянками, гороховым супом, который каждый день приносили в огромных термосах кашевары. Файзула сидел на парах и, раскачиваясь, что-то пел вполголоса на своем родном языке.

Пел он часто и всегда по-татарски, хотя по-русски говорил чисто, без малейшего намека на акцент. Я спросил, где он так хорошо овладел русским языком. Оказалось, что Файзула учился в русской школе, но окончил лишь четыре класса, потом работал в геологоразведочной партии, где все говорили по-русски.

— Мы нефть искали,— добавил он.

— Нашли?

Файзула кивнул.

— После войны по новой в геологоразведочную партию устроюсь. Мне эта работа нравится...

Примостившись на верхней ступеньке, ведущей в блиндаж, Люда штопала Генкину гимнастерку, ловко орудуя иглой. Игла была большая, похожая на шило, нитка — прочная, толстая. Генка сидел возле Люды, они разговаривали вполголоса. «Как голубки, воркуют», — подумал я, вспомнил Зою и Зину, мысленно перенесся в Москву. На этот раз я думал о Зое и Зине недолго — перед глазами

возникла мать. Она сидела в нашей комнате за столом, обхватив голову руками. Ее глаза были грустными. Я вспомнил, что давно не писал ей, и, устыдившись, стал рыться в карманах, ища огрызок химического карандаша. Пристроившись на ступеньке — так, чтобы падал дневной свет, стал писать письмо.

— Кому пишем? — поинтересовалась Люда.

— Матери.

— И мне надо! — спохватился Генка и стал искать бумагу.

Люда откусила нитку, протянула ему гимнастерку.

— Пиши, а я пойду.

— Куда? — проворчал Генка.

— В соседний взвод, к подруге.

Когда Люда ушла, Файзула сказал, оборвав песню на полуслове, что Людка, наверное, с любимым пойдет.

— Прекрати! — крикнул Генка, забыв о письме.

В блиндаже стало тихо. Так тихо, что я услышал, как сопит Волчанский. И чтобы внести разрядку, сказал:

— Что-то запаздывают сегодня фрицы.

Файзула взглянул на мутно видневшееся солнце — оно с трудом пробивало облака:

— Точно.

Приподнялся край плащ-палатки, и в блиндаж ввалился Ярчук — недавно его забрали в разведку:

— Скучаете?

Мы промолчали.

— Сегодня попотеть придется, — сказал Ярчук. — Флигелек брать будем.

— Давно пора! — обрадовался Файзула.

Флигелек — уютный домик, сложенный из белого камня, — находился от нас метрах в восьмистах. Рассмотреть его, как следует, не удавалось — мешали деревья. Но Файзула, лазивший к флигелю, говорил, что сработан он на все сто.

— Стены в нем — метр! — утверждал Файзула, разводя в стороны руки. — На окнах — мешки с песком. Если возьмем этот флигелек, как у тещи за пазухой жить будем.

Флигелек был превращен фашистами в дот. И вклинивался в нашу оборону. Поэтому о флигеле мы говорили часто. Гадали — когда ж? И вот этот час настал. Я немного разволновался и, чтобы не показать это, стал считать про себя.

— Решено опередить немцев,— сообщил Ярчук.— Минут через десять «катюши» заиграют. А потом...

— Ясно! — Божко кивнул.

— Если возьмем сегодня флигель, то война, может, на день раньше кончится,— помечтал Волчанский.

Божко улыбнулся.

— Оно, конечно, не совсем так. Но все же лучше сегодня взять, чем завтра.

Мы согласились с этим.

«Катюши» сыграли складно и быстро. Запылали деревья. Сразу после артналета парк ожил, наполнился сопением, вздохами, шуршанием листвы. Эти звуки доносились до меня несколько секунд, потом их перекрыл треск пулеметов. Они строчили быстро-быстро, захлебываясь, сбиваясь.

— Вперед! — сказал Божко и выбрался из окопа.

Ярчук бежал чуть впереди, подбадривая нас возгласами.

Огонь усилился, с каждым шагом идти становилось труднее. Воздух стал восприниматься, как нечто плотное — то, что приходилось преодолевать огромным напряжением мышц. Я ощущал упругость воздуха лицом, телом, мне казалось, что я преодолеваю сопротивление какой-то невидимой глазом массы, сотканной из резины. Я видел воспаленные лица ребят, их глаза выражали боль, страх, ненависть. Мой взгляд только отмечал это — мозг не вырабатывал никаких мыслей. Лишь один раз, когда меня обогнал Файзула, мозг сработал, и я подумал тогда, что Файзула — отчаянная голова, что медяшка с дыркой посередине, наверное, действительно помогает ему.

Мы брали флигель в клещи. «Как берлогу», — неожиданно решил я. Эта мысль застряла в мозгу, и я больше ни о чем не мог думать до тех пор, пока не очутился, перемахнув через траншею, около флигеля, из окна которого, заваленного мешками с песком, торчал поникший ствол ручного пулемета. Храбро потянул пулемет на себя, но он только пошевелился.

За углом стрекотали автоматы, хлопали винтовочные выстрелы, а я тащил и тащил на себя пулемет. «А вдруг?» — По телу побежали мурашки. В этот момент я не сообразил, что немцы давно бы прикончили меня, если бы могли стрелять. Мысль о засевших в комнате немцах подхлестнула меня. Я пальнул наугад несколько раз,

выхватил из кармана «лимонку» и, сорвав кольцо, просунул ее в щель.

Раздался взрыв. Кисловатый смрад поплыл из щелей. Ощущая в ушах звон, я попытался столкнуть мешки. Они оказались тяжелыми.

— Эй! — позвал я.

Волчанский и Файзула поспешили на помощь. Мы столкнули мешки и прыгнули в комнату. По ней плавал дым. На полу валялись пулеметные ленты и гильзы, в потолке зияло отверстие, сквозь которое просвечивало небо. Мебели в комнате не было. На стене висела картина в тяжелой раме. Она изображала толстощекого мужчину в парике. Под самым окном лежали в неестественных позах убитые. Еще один немец, истекая кровью, смотрел на нас помутившимся взглядом.

Файзула направил на него карабин.

— Не смей! — крикнул я.

— Это ты мне? — удивился Файзула.

— Тебе! — Генка скользнул по фрицу равнодушным взглядом, и я понял: он поддержал меня просто так — лишь бы Файзуле досадить.

— Дурачь! — сказал Файзула. — Нашли кого жалеть.

— Это же раненый! — возмутился я.

— Фашист! — возразил Файзула. — Спроси у него, сколько наших он ухлопал?

— Все равно — раненый, — повторил я.

— Черт с ним, — сказал Файзула. — Пусть живет.

Над головами прошелестело. Зыбкий настил на потолке качнулся, и несколько пуль впились в пол около моих ног. Я не успел сообразить, а Файзула схватил трофейный автомат и разрядил всю обойму в потолок.

— А ты жалеешь их! — хрипло произнес он, опустив автомат.

Я постарался ожесточиться, но не смог.

— Магарыч с тебя, — сказал Генка.

— Ладно. После войны в гости приезжай!

В комнату вбежал, тяжело дыша, Ярчук. В одной руке он сжимал трофейный «вальтер», другая — с темным пятном крови на рукаве — болталась вдоль туловища.

— Живы?

Ярчук посмотрел на убитых.

— Ты?

— А кто их знает, — ответил Генка. — Все стреляли сюда.

Я показал рукой на потолок:

— Там один засел. Касимов его только сейчас шлепнул.

Подтянувшись на руках, Файзула вскарабкался с ловкостью обезьяны наверх и, повозившись там несколько минут, сбросил хорошо кормленного фрица с Железным крестом на мундире.

— Матерый! — сказал Ярчук и покачнулся.

Я бросился к нему.

— Спокойно.— Ярчук привалился к стене, скрипнул зубами.

— Санинструктор! Людка, мать твою перемать! — завопил я, потому что понял — Ярчуку плохо: его лицо посерело, нос заострился, глаза подернулись пленкой.

Генка с недовольным видом посмотрел на меня, а Ярчук сказал:

— Не паникуй! Нашей Людке работы сейчас хватает.

Держался Ярчук, видать, на одном самолюбии. Покусав губы, сказал:

— Обживайте флигелек и «МГ» приготовьте.— Он кивнул на немецкий пулемет.— Сейчас они полезут. А я — в санроту.

— Доберешься один? — спросил Файзула.

— Доберусь. Рана — пустячок, — говорил Ярчук медленно, слизывая кончиком языка капельки пота над губой.

С тех пор я больше не видел его. Наверное, рана оказалась тяжелой и его отправили в медсанбат, а может, в госпиталь.

27

Вопреки предсказанию Ярчука, немцы не сунулись. Они попытались отбить флигель на следующий день, вскоре после того как к нам прислали нового взводного — младшего лейтенанта Родина, очень интеллигентного человека в очках. Он обращался к нам на «вы», приказания отдавал ровным, хорошо поставленным голосом. Родин совсем не походил на лейтенанта Сорокина, которого мы часто вспоминали, и мы не очень горевали, когда младшего лейтенанта ранило и он, опираясь на Людкино плечо, покинул взвод.

— Лучше Сорокина взводных не будет, — сказал Божко, и мы согласились с ним.

После боя Генка сказал:

— Сегодня больше не попрет.

— Факт, — согласился Файзула.

Мы выставили боевое охранение и стали обедать, чем бог послал. А послал он на этот раз только сухари — по штуке на брата.

Много разных вкусных блюд попробовал я до войны. Сытно и вкусно кормили нас в госпитале. Тамашний повар — так утверждал Ячко — до войны работал в ресторане. Но слаще солдатских сухарей я ничего не ел. Ни до, ни после войны. Солдатские ржаные сухари ничего общего не имеют с теми, которые продаются сейчас в булочных и называются — сливочными, ванильными, с орешками. У солдатских сухарей был особый, ни с чем не сравнимый вкус. А как они пахли, эги сухари! Понюхаешь — слюнки бегут. Как их делали, не знаю. Но, видно, делали их по какому-то особому рецепту. Были они огромные — из буханки получалось, может, десять, может, двенадцать сухарей — и очень сытные. Мы грызли их просто так, намазывали на них тушёнку, лопали с ними суп, распаривали сухари в кипятке. Горячая, обжигающая губы вода становилась пахучей и вкусной. А распаренный сухарь? Это же было объедение! Набухший, он был мягче только что вынутого из печи хлеба. Хотите верьте, хотите нет, но тот, кто не отведал солдатских сухарей, многое потерял...

...Генка вздохнул, понюхал сухарь.

— Не густо.

Я вспомнил свои мечты о фронтовых харчах и усмеялся.

— Чего ты? — насторожился Генка.

— Свое вспомнил.

— А-аа...

Когда мы подзаправились, Файзула сладко потянулся, проговорил сквозь зевоту:

— Теперь и вздремнуть можно.

Вздремнуть не удалось — начался бой.

— Опять попер! — Генка выругался. — Думал, ночью они не сунутся.

— Знают тут каждый кустик, поэтому и прут, — проворчал я и полез на чердак, куда Божко снарядил, кроме меня, Волчанского.

Ночь была черной, как гуталин. Вдали пульсировали автоматные вспышки. Ничего другого разглядеть не удалось. Я даже края крыши не видел, хотя он, этот край, находился совсем близко от чердачного окна.

Я стрелял наугад, понимал бессмысленность такой стрельбы и все же думал: «А вдруг?»

Пули барабанили по черепичной крыше. Снизу доносился стук «МГ». Я прицелился в пульсирующий огонек, нажал на спусковой крючок. Огонек исчез. «Уложил!» — обрадовался я.

Нас поддержали оружейно-пулеметным огнем первый и третий взводы, и атака захлебнулась.

Когда я спустился вниз, Файзула сказал:

— Надо бы на «нейтралку» слазить.

— Зачем? — спросил Божко.

— Может, «языка» удастся взять. Сунутся немцы убитых забирать — тут мы их и накроем.

Божко оживился.

— «Язык» — это хорошо!

Файзула посмотрел на меня:

— Махнем?

Отказываться было совестно, и я согласился.

Стало светло. Выглянула луна. Плавали снежинки, медленно опускались на шуршащие под ногами листья.

— Вот и дождались, — сказал я.

— Чего? — не понял Файзула.

— Снега. — Я вдохнул морозный воздух.

— Сегодня так слазим, — откликнулся Файзула, — а потом придется маскхалат добывать.

Он спрыгнул в окопчик, огибавший полукольцом флигелек и упирившийся одним концом в небольшой постамент с развороченным всадником, у которого были отбиты руки и нога; другой конец окопчика терялся в кустах, где стояла «сорокапятка».

Ничто не нарушало тишину. Снежинки, пушистые и крупные, отчетливо виднелись в свете луны; они парили в воздухе, лениво опускались на землю, делали ее похожей на подвенечное платье — такие платья я видел только на картинах и на сцене, а в жизни ни разу, и мне очень захотелось, чтобы Зоя сшила бы себе такое платье, когда мы пойдем в загс. По небу плыли облака. Луна то исчезала в них, то появлялась снова; казалось: она играет в прятки, но играет нехотя — в ее появлении и исчезновении не бы-

ло резких, внезапных переходов. Когда луна исчезала, становилось — хоть глаз выколи и мгновенно обострялось чувство страха, а когда бледный свет заливал землю и ложились едва заметные тени, страх притуплялся. Через равные промежутки взлетали немецкие ракеты, освещая передний край. Как только ракета взмывала в воздух, Файзула замирал. Ракеты напоминали о немцах — они находились в двухэтажном особняке с колоннами и львами возле подъезда. Этот особняк был в полукилометре от флигеля. «Скоро и особняк возьмем!» — подумал я и вспомнил добрым словом Казанцева, который много времени уделял строевой, научил меня и по-пластунски ползать и прочим премудростям — тому, что два месяца назад казалось мне пустой тратой времени.

Ночью все, даже знакомые предметы, принимают причудливые очертания. Куст, растопыривший обгоревшие ветки, тот самый куст, который я видел раз сто, вдруг показался мне фрицем с направленным на меня автоматом. Я ощутил внутри холодок и остановился.

— Чего? — спросил Файзула.

— Тише, — прохрипел я и движением головы показал на куст.

— Дурень, — процедил Файзула.

Мы снова поползли.

Мне почудилось, что припорошенные снегом листья уж очень шуршат, я стал ползти осторожней и, следовательно, медленней. Это разозлило Касимова.

— Не пускай пар! — громко сказал он.

Я обомлел. Хотел броситься назад, но вовремя сообразил, что тогда — хана.

— Недалеко уже, — ободрил меня Файзула и велел поднажать.

«Если суждено погибнуть, то погибну», — подумал я и заработал руками. И вдруг услышал тиканье. Было тихо, вокруг лежали мертвецы, а где-то тикало — отчетливо, громко. Сердце, показалось, остановилось на миг, тело стало липким. «Амба!» — решил я. И тут понял, что это тикают часы в кармашке убитого фрица; он лежал чуть в стороне. От радости я чуть не захохотал. Нечаянно приснул к лицу убитого и отдернул руку.

— Слабак ты, — упрекнул меня Файзула.

— Тише, — прошептал я.

— Не бойся! — Файзула явно бравировал. — Фрицы сейчас вторые сны видят.

— А вдруг?

Файзула снова обозвал меня слабаком и приказал затаиться.

Я лежал и думал: «Вот мы уже и в Венгрии — в самом центре Европы. Как только возьмем эту чертову усадьбу, сразу двинем дальше». Я завидовал бойцам других подразделений — тем, кто не топтался, как мы, на месте, а наступал. Сводки Совинформбюро, которые нам регулярно зачитывали политработники, вызывали восторг. Мы гадали, когда окончится война. Файзула говорил: месяца через три, Божко утверждал — через полгода. Дух близкой победы витал в воздухе, обнадеживал, наполнял сердца уверенностью.

Мы лежали долго — так долго, что у меня онемели ноги.

— Может, хватит? — прошептал я.

— Еще с полчаса, — откликнулся Файзула.

Время тянулось, как резина. Я лежал на животе, нюхал носом снег. Он подтаивал подо мной. Пола шинели откинулась, сквозь ткань галифе проникал холодок, тело ощущало влагу. Луна откатилась в сторону и скрылась в туче. Повалил густой, липкий снег.

— Видать, фрицы еще не очухались, — с сожалением произнес Файзула и приказал возвращаться.

На следующий день Файзула пополз на «нейтралку» за документами днем. Божко приказал ему вернуться, но Файзула сделал вид, что не расслышал.

— Все! — сказал Божко, и я понял, что Файзуле не сдобровать.

Касимов верил в свою звезду и не маскировался. Пули ложились рядом — того гляди накроют.

— Олух! — воскликнул Божко. — Хоть бы голову пригнал.

Я несколько раз закрывал глаза, но Файзула благополучно добрался до оврага с пологими склонами (этот овраг пересекал нейтральную полосу, отделял флигелек от особняка), приспустил, не вставая, брюки и, показав немцам голый зад, скатился вниз.

Боже мой, что тут началось! Фрицы с ума посходили. В штабе встретились. Узнав в чем дело, успокоились, даже посмеялись. Божко проговорил сквозь зубы:

— Дает нехристь!

Немцы стали кидать мины. Над оврагом повис дым, красноватая мерзлая земля обрушивалась на кусты, ломала их. «Конец!» — решил я. А Файзула продолжал куражиться. Издеваясь над фашистами, подбросил вверх шапку: жив, мол.

Огонь неожиданно стих. Божко покачал головой:

— Невольно начнешь верить, что эта медяшка помогает ему.

— М-да,— пробормотал Волчанский, и было непонятно — поверил он в амулет или нет.

Минут через двадцать Файзула вылез из оврага и, почти не таясь, направился к нам. И сразу прозвучал выстрел немецкого снайпера...

Мы схоронили Касимова в парке, под липой, в промерзшей, холодной земле. Ее пришлось долбить, чтобы вырыть могилу. Божко сказал, отвернувшись:

— Медяшку снимите. На кой черт она ему, мертвому.

Волчанский снял амулет и, не зная, что с ним делать, стал раскручивать. Позеленевший от времени кружочек, прикрепленный к черному засаленному шнуру, рассекал воздух.

Я поднял карабин.

— Отставить! — сказал Божко.— В бою ему отсалютуем.

Мы постояли с непокрытыми головами около красноватого холмика, на который опускались легкие, почти невесомые снежинки, и пошли «домой».

На других участках нашего фронта — об этом сообщали армейская и фронтовая газеты — шли напряженные бои. Армия, куда вошла наша бригада, медленно наступала, а мы, бывшие десантники, топтались на месте и даже не пытались выбить немцев из особняка. Божко сказал про этот особняк, что он — как крепость, и мы все ждали, когда нам прикажут захватить его. Но такого приказа не поступало.

— Роту бы «тридцатьчетверок» сюда, полковую артиллерию, пару «катюш» — и от особняка один пшик остался бы,— утверждал Божко.

Но танки к нам и близко не подходили, «катюши» помогли всего один раз, а вместо полковой артиллерии при-

были две «сорокапятки» с латками на шинах и вмятинами на щитках.

— Пришей кобыле хвост,— так охарактеризовал сержант эти уже устаревшие пушки.

Мне хотелось наступать, а не мерзнуть в окопе, и я сказал об этом Божко.

— Тактика! — ответил сержант.— Про то, что у нашего комбрига и командующего армией на уме, только их начальники знают. Может, через день-другой подойдут скрытно сюда танки, «катюши», и начнется.

— Хорошо бы! — воскликнул я.

Приказ — захватить особняк — поступил через несколько дней после этого разговора. Вначале все шло хорошо. Мы приблизились к особняку почти вплотную, вот-вот должны были ворваться в него, но тут немцы открыли такой огонь, что тошно стало. Наш взвод потерял семерых и скатился в овраг, в котором погиб Файзула. Над головами проносились пули, впивались в противоположный склон, подмытый внешними водами, отбивали от гранитных глыб кусочки — острые, как стекляшки. Один из кусочков попал мне в лицо. Я схватился за щеку и сразу почувствовал что-то теплое, липкое. Посмотрел на Генку.

— Ссадина.— Он посоветовал приложить к ранке носовой платок.

Я порылся в карманах, но платка не нашел. Носовые платки я всегда терял, всегда хлюпал носом, словно у меня был хронический насморк. Вместо носовых платков мать давала мне обыкновенные тряпочки, но я их тоже терял.

Волчанский протянул мне свой платок — скомканный, грязный.

— Ты что, сапоги им чистишь? — проворчал я.

— Отстань! — огрызнулся Генка.

Я приложил платок к ранке и сказал:

— Хоть бы постирал платок — смотреть и то противно.

— Где? — снова огрызнулся Генка. Он явно нервничал, как нервничали все мы, и поэтому грубил. А постирать платок он мог запросто: во флигелечке была ванна — заржавленная, с отбитой эмалью, но все-таки ванна.

Немцы не давали нам высунуть носа. Наверху нас подстерегала смерть, а на дне оврага мы чувствовали себя сносно. «Лишь бы ноги унести отсюда подобру-поздорову,— думал я,— и снова очутиться во флигелечке, где тепло, хорошо и где мухи не кусают».

Пороховой дым застилал глаза, пыль щекотала ноздри. «Сейчас рванет и... Только бы сразу!» — Мне не хотелось мучиться так, как мучился Божко, которого вчера садануло в живот. Последняя из десяти выпущенных в тот день мин разорвалась недалеко от сержанта. Божко стал медленно оседать, сползая по стене флигеля.

— Людка! — крикнул я.

Ефрейтор Прошкин, подносчик снарядов с «сорокапятки», — жилистый, нескладный, с висячими усами, придававшими его лицу унылое выражение, — сказал:

— Хана!

Божко смотрел на нас полными ужаса глазами. Его лицо бледнело, на щеках отчетливо проступали оспинки.

— Людка! — снова крикнул я.

Сержант дернулся всем телом, его голова свалилась на плечо.

— Отмаялся, — сказал Прошкин и стянул с головы шапку.

Я подскочил к Божко, стал трясти его, приговаривая:

— Сержант? А, сержант?

Голова болталась, остекленевшие глаза ничего не выражали.

— Сержант? А, сержант? — чуть не плача повторял я.

— Уже не поможет, — сказал Прошкин...

Я лежал и думал: «Вот и нет Божко». Еще позавчера я хлебал с ним из одного котелка гороховый суп, пахнувший лавровым листом и перцем.

— Уважаю горяченькое, — сказал Божко. — От него — сила. А от сухомятки — никакой пользы.

Божко с деревянной ложкой в руке и его слова запечатлелись в памяти. Ничего другого сейчас я не мог вспомнить.

За спиной кто-то ругался вполголоса. Я постарался определить, кто ругается, но не смог: вчера, сразу после похорон Божко, к нам прибыло пополнение — шесть человек. Поворачиваться не хотелось: я лежал удобно, в углублении.

Мы «загорали» до тех пор, пока не приползла Людка. Как ей удалось добраться — одному богу известно. Но то, что Людка добралась, успокоило меня: я понял — можно выбраться.

Людка подползла к Генке, стала что-то говорить ему, придерживая рукой пилотку, — она не сменила ее на шапку, несмотря на холода.

— Людка говорит: ротный приказал выбираться, — произнес Генка, ни к кому не обращаясь.

— По одному придется, — сказал я.

— Так верней будет, — согласился Генка.

Я надеялся на свои ноги. Когда настал мой черед, бросился головой вперед, не видя перед собой ничего, кроме флигелечка, где было тепло, хорошо и мухи не кусали. Вдогонку мне заныли пули. Показалось: немцы сосредоточили весь огонь на мне. Я мчался, обгоняя дующий в спину ветер. «Ничего не случится», — обрадовался я, когда до флигелька остались считанные метры. И тут резкая боль пронзила мозг...

Очнулся я, наверное, через минуту. Прямо на меня бежал Волчанский, придерживая каску. Позади Генки впились в снег с сердитым шипением пули. Я выплюнул кровь, увидел в ней обломки зубов, подобрал карабин и, чувствуя невероятную усталость, пополз к флигелю. От боли я ничего не соображал, хотел только одного — поскорее очутиться «дома». Возле флигеля совсем ослабел и, теряя сознание, ощутил, как меня подхватывают чьи-то руки...

Когда в мозгу прояснилось, я уже был на нарах. Людка перевязывала меня. Прикосновение ее пальцев приносило облегчение. Я подумал, что Людка хороший санитар и, наверное, будет хорошей, ласковой женой.

— Ожил? — спросила она, встретившись с моим взглядом.

Я кивнул.

— До свадьбы заживет, — успокоила Людка. — Но придется тебе, видно, в тыл ехать — с челюстью что-то... Видно, без тебя победу встретим...

29

Вспомни, солдат, санитарный поезд — дорогу с войны. Туда едешь — об одном думаешь: не убило бы, не покалечило бы. Дорога с войны полна сладостных ожиданий. Впереди — госпиталь: кровать с пружинами, компот на третье, печенье в полдник, кино, девушки-шефы.

Вспомни, солдат, сестричек в белых накидках — тех, кто понимал тебя, раненого, с полуслова, кто сквозь пальцы

смотрел, как ты менял на станциях, таясь от докторов, немудреные солдатские трофеи на желтый, похожий на ржавчину самогон. Вспомни, как сжимались твои кулаки и покалывало сердце, когда за окнами вагона проливали сожженные деревни, разрушенные полустанки, около которых стояли, провожая «поезд милосердия», уставшие бабы в залатанных телогрейках и мужики на деревяшках с зелеными флажками в руках. Вспомни разъезды, мчащиеся навстречу составы с танками на платформах, с зачехленными орудиями, вспомни худых, одетых в рванье ребятишек, которые продавали на пристанционных базарчиках вареную картошку, соленые помидоры, тыквенные семечки и малюсенькие яблоки с помятыми боками. Вспомни старух с застывшей скорбью в глазах, спрашивающих с надеждой: «Моего-то, сынки, не встречали там?» Вспомни стариков — древних, сгорбленных, смахивающих с коричневых щек скупые слезы. И молодух вспомни, жадно шарящих по тебе глазами. Пусть без руки, без ноги ты — все равно мужик. Плохо без мужика в доме. Ох, плохо! Вспомни, солдат, сестер твоих — тех, кто так и не создал семью, потому что война прошла и парней поубивало. Вспомни и пожалей женщин, мимо кого прошла большая любовь, радость материнства.

Каждый год 9 Мая, когда на экране твоего телевизора появится могила Неизвестного солдата и женский голос начнет произносить скорбные слова, ты вспомнишь все это, но прежде всего вспомнишь тех, кто, как поется в песне, «не вернулся из боя». Слезы покатятся по твоим щекам, в пепельнице станет расти гора окурков, твои близкие — жена и дети — осторожно прикроют за собой дверь, и ты, солдат, пока на экране не погаснет Вечный гонь, мысленно пройдешь весь свой путь — от учебного полка до передовой, от передовой до госпиталя и снова туда и оттуда. Ты увидишь лица убитых, услышишь стоны, ощутишь запах гари, вонь синтетического бензина, будешь нюхать землю, ожидая паузы, чтобы вскочить и броситься вперед — к немецким траншеям, оцетинившимся колючей проволокой в ржавчине; на твою голову и спину посыплется земля, поднятая в воздух немецкими минами, а ты, ощущая тяжесть винтовки и сухость во рту, будешь бежать, бежать, бежать, елотыкаться, падать и снова бежать.

Вспомни все это, солдат. Неужели снова? Не дай бог, не дай бог! Пусть нуют к непогоде твои старые раны, пусть на висках, будто рассыпанная соль, седина, но ты,

солдат, все же держи наготове «сидор» с кружкой и ложкой, куском мыла и сменой портянок. На всякий случай держи! В мире — то тут, то там — еще беспокойно, совсем не так, как представлялось тебе это время, когда ты возвращался с войны в «поезде милосердия».

Вот уж не думал, не гадал, что снова придется побывать в Горьком! Как и тогда, в ноябре 1943 года, мела поземка и ветер бросал в лицо сухой, колючий снег. Но только на этот раз я не топал по улицам города, страдая от мороза, а ехал в автобусе, на бортах которого был нарисован красный крест, превратившийся от осевшей на него изморози в розоватое пятно.

Я продул на окне кружочек и стал смотреть на пешеходов. Они прятали носы в воротники и, наверное, проклинали ветер, а я холода не ощущал — сидел на обитом дерматином сиденье и кутался в одеяло, которое заботливо накинула мне на голову сестра.

Такие же одеяла — грубошерстные, серые, с красными поперечными линиями, очень колкие были накинуты на головы других раненых — с забинтованными лицами. Бинты, и особенно уложенная под ними вата, делали наши головы неестественно большими: шапки прикрывали только макушки, поминутно сваливались с них. Видимо, поэтому на нас и накинули одеяла.

В Горьком с санпоезда ссадили только тех, кто был ранен в лицо. До этого я и не представлял, что в Горьком есть челюстно-лицевой эвакогоспиталь, в котором вставляют «мосты», производят пластические операции.

Мысли о ранении в челюсть не давали мне покоя. Я был уверен, что мое лицо обезображено, и все время думал: «Лучше бы в ногу или руку ранило». Спрашивал у медсестер:

— Неужели уродом буду?

Сестры улыбались:

— Только шрамик останется. Любая девушка с первого взгляда поймет — фронтовик.

«Это хорошо», — успокаивался я. Мне хотелось спросить сестер — стали бы они встречаться с парнем, у которого на лице шрам, но я почему-то не осмеливался задать им этот вопрос.

Я так часто надоедал сестрам, что одна из них — толенькая, подвижная, в накрахмаленном до хруста халате

и марлевой косынке, из-под которой выглядывали бойкие, смышленные глаза,— подарила мне маленькое зеркальце. Я подносил его к лицу, но ничего не видел, кроме пухлой повязки, торчащего из нее носа и лихорадочно блестящих глаз.

Я ехал в автобусе и думал: «Хорошо бы увидеть рану и вымыть голову». Голова чесалась, в санпоезде повязку с лица не снимали: врачи, видимо, боялись внести в рану инфекцию.

Баня в челюстно-лицевом госпитале оказалась классной — с вапными. В предбаннике с раненых сняли повязки и я, наконец, увидел свою рану — багровый рубец с гнойными точками. По сравнению с другими моя рана выглядела пустяковой. Врач-стоматолог — грузный, с зашученными рукавами — подтвердил это, сказав:

— Дешево отделался, парень. Челюсть повреждена и остеомиелитик небольшой. Подчистим, подправим, отремонтируем. Зубы новые вставим, и будешь ты — жених.

Мыли нас жепщины — не очень молодые, но и не старые. Одинаковые серые халаты и такие же шапочки делали их похожими одна на другую.

Я стыдился своей наготы, прикрывался ладошкой. То же самое делали и другие парни. Одна из женщин взглянула на меня и усмехнулась. Я покраснел, повернулся к ней голым задом; потом решил, что это еще хуже, и, не найдя ничего лучшего, встал к женщине боком.

Женщина снова усмехнулась, а старик солдат, раненый в подбородок и выражением глаз очень похожий на Петровича, сказал:

— Чего, парень, как юла, вертишься? Видали они это сто, а может, тыщу раз. Тут нашего брата, раненых, за войну столько перебивало, что и не счесть. Незачем своей наготы стесняться: ведь ты не ба́луешься, а... — Старик хотел еще что-то добавить, но, видпо, не нашел подходящего слова.

— Верно.— Женщина кивнула. Обратившись ко мне, спросила: — Сам будешь мыться или помочь?

— Сам, сам,— заторопился я.

— Одной-то рукой?

Я снова покраснел.

Женщина с решительным видом подошла ко мне:

— Давай хоть голову вымою. А то начнешь плескаться одной-то рукой — рану загрязнишь.

Мыла она хорошо, ловко. Я все время косил глазом на рану — вроде бы ни капли не попало. И по-прежнему прикрывался ладошкой.

— А ну убери руку! — рассердилась женщина. — Всю меня локтем, как шилом, исколол.

Я проглотил застрявший в горле ком, но руку не убрал. И тогда женщина добродушно заметила:

— Убери. Твое при тебе останется...

Улица, на которой находился наш госпиталь, называлась Оперной. Она называлась так потому, что на этой улице, как раз напротив госпиталя, размещался оперный театр — длинное, похожее на ангар здание, у которого «смотрелся» только фасад — он имел колонны, а бока «не смотрелись» — там не было ничего интересного: обыкновенные стены, какие можно увидеть всюду.

До войны артисты оперного театра шефствовали над школой, где теперь размещался госпиталь. Школьники часто бывали в гостях у артистов, а те у школьников. Поэтому про школу говорили: «Та, где артисты шефы».

Так было до войны. Когда началась война, кружки, которыми руководили артисты, распались: старшекласники ушли на фронт, многие ученики встали к станкам, остальные перешли в другие школы, где не было художественной самодеятельности. Из школьного здания вынесли парты, классные доски, вместо них внесли кровати с панцирными сетками, тумбочки, устроили в подвале кухню, и осенью 1941 года открылся госпиталь. Артисты оперного театра стали шефами этого госпиталя.

Раз в неделю, по вторникам, в госпитале устраивались концерты. Никто не вывешивал объявления — мы и без этого знали: вечером придут артисты. После дневного сна мы прилипали к окнам — они выходили на артистический подъезд.

— Появились! — выкрикивал кто-то, и все спешили в клуб занимать места.

Раненых в театр пускали без билетов и на любой спектакль. Капельдинерши встречали нас ласковыми улыбками, говорили шепотом:

— Садитесь, сынки, на свободные места.

Вызывая веселое оживление зрителей, мы устраивались в креслах. Зрители оживлялись потому, что мы были

одеты в полосатые пижамы и тапочки на войлочной подошве.

Я побывал на всех спектаклях, слыл в госпитале заядлым театралом. И, наверное, поэтому мне достался приглашенный билет на заключительный концерт смотра сельской художественной самодеятельности. «Может быть, что-нибудь толковое будет», — размышлял я, собираясь в оперный театр, где проходил смотр. Но концерт оказался так себе: соло на баяне, хор, пляска. Я оживился только, когда конферансье объявил:

— Куплеты Зибеля из оперы «Фауст» французского композитора Гуно исполнит ученица десятого класса Больше-Мурашкинской средней школы Капитолина Ретинина.

На сцену вышла — глаза в пол — чернобровая девчонка с вишневым румянцем на щеках. Голос у нее оказался густым, красивым, и сама она была — прелесть. Когда смолк последний аккорд, я вскочил и громко крикнул:

— Браво!

Зрители обернулись на меня, захлопали в ладоши и тоже закричали «браво» и «бис». Девчонка метнула на меня взгляд, что-то сказала аккомпаниатору — седоголовому мужчине в мешковатом костюме. Мужчина положил руки на клавиши, и в зале вновь зазвучало: «Расскажите вы ей, цветы мои...»

В аптракте я подошел к Капе и с видом знатока сказал:

— Голос у вас — как у настоящей певицы.

Был я без передних зубов, с повязкой на скуле. Стеснялся открывать рот во всю ширь и поэтому говорил невнятно, слегка шепелявил.

— Что? — переспросила Капа.

Я сделал вид, что чешется нос, и повторил, заслонив рукой рот:

— Голос у вас — как у настоящей певицы!

Капа потупилась. И без того румяные щеки запылали еще больше. Показалось: тронь их спичкой, и спичка вспыхнет. Я понял — комплимент понравился. Это воодушевило меня, и я стал выпускать их обоями. Совсем ослевев, спросил, по-прежнему прикрывая рукой рот:

— Адресок дадите?

— Зачем?

— Письмо хочу вам написать.

— У меня жених есть, — на всякий случай предупредила Капа.

Мой интерес к ней поостыл, я подумал, что Лешка Ячко

Просто трéпался, когда утверждал, что парни сейчас — на вес золота. Но отступать было поздно, и я сказал:

— Все равно написать хочется.

Капа покрутила на коффе пуговку:

— Записывайте!

Я порылся в карманах — ни карандаша, ни бумаги.

— Запомню. Память у меня отличная!

Капа улыбнулась и, сильно окая, проговорила:

— Горьковская область, Больше-Мурашкинский район, деревня Подлесная, Капитолине Ретининой.

— А по отчеству вас как?

— Ивановна.

— Значит, Капитолина Ивановна Ретинина?

Капа кивнула.

Мне было приятно стоять около нее, смущать ее взглядами, словами, которые слетали с языка легко и свободно, словно я по шпаргалке шпарил, словно заранее отрепетировал речь. Огорчало только, что у нее есть жених.

— Далеко это самое Мурашкино от Горького?

— Не просто Мурашкино, а Большое,— поправила Капа.— А живем мы от города далековато: две пересадки, потом от станции двадцать верст по большаку.

— А жених ваш кто?

— Федька.

Я усмехнулся про себя.

— Меня не имя интересует — профессия.

Капа смутилась.

— Мы в одной школе учились. Он был на три класса старше меня. Вы с какого года?

— С двадцать шестого.

— Он тоже.— Капа засияла.— А сейчас воюет. В письмах намекает — на Берлин идет.

— Пехотинец? — спросил я.

— Нет,— с живостью откликнулась Капа,— танкист. До войны все свободное время в энтээсе околачивался — тракторы изучал. Как война началась, пахать и сеять стал. А в ноябре сорок третьего забрали.

— Меня тоже в ноябре,— сказал я.

— Ну-у?

— Двадцать пятого повестку получил, а двадцать седьмого — с вещами,— уточнил я.

— Федьку тоже в конце месяца, вот только число не помню.— Капа загрустила. Потом на ее лице появилась улыбка.— Слышали последнюю сводку — наши уже к Бер-

лину подошли? Теперь конца войны каждый день ждать надо.

Мне стало немножко грустно от того, что победа застанет меня не на фронте, а в госпитале.

Нетвердой походкой приблизился аккомпаниатор и сказал, по-смешному дернув мясистым носом:

— Пора, девочка.

— Познакомьтесь! — спохватилась Капа. — Это учитель наш — Петр Тимофеевич.

— Очень приятно, — сказал я.

— Мне тоже. — Петр Тимофеевич шаркнул ногой и покачнулся.

— Замечательный голос у вашей ученицы, — похвалил я Капу.

— Божественный! — Петр Тимофеевич сплел над головой руки. — Десятилетку кончит — в консерваторию поступит. Она большой певицей станет — уверен!

Я подумал, что не удивлюсь, если лет через десять-пятнадцать увижу на театральной афише знакомую фамилию. Представил на мгновение Капу в партии Зибеля — она показалась мне лучше той певицы, которая пела Зибеля, когда я слушал «Фауста».

— Пора, девочка, — повторил Петр Тимофеевич и дынул на меня винным перегаром. Запоздало прикрыл рот рукой и пробормотал: — Виноват-с!

— До свидания, — сказал я.

— Прощайте, — ответила Капа.

Зоя меня не баловала письмами, и я, от нечего делать, стал переписываться с Капой. Ее письма были теплые, бесхитростные. Я читал их и почему-то завидовал Федьке...

В госпитале я лежал долго: рана не заживала, все чаще и все сильнее болела голова. Когда мне в первый раз примерили «мост», я упросил врача оставить его хоть на несколько часов и взял увольнительную. Хотелось побыть там, где я начал солдатскую службу.

Остановившись около проходной, попросил вызвать Казанцева.

— По какому вопросу? — спросил дежурный — паренек в обмотках, в ватнике вместо шинели.

— По личному.

Паренек крутанул ручку телефона:

— Мне Казанцева... Товарищ старшина, тут спраши-

вают вас.— Прикрыв рукой трубку, паренек выкатил на меня глаза.— Фамилия как?

— Скажи ему, Саблин, мол, пришел.

— Он говорит, что он Саблин, товарищ старшина! — Ключнув трубку носом, паренек пробормотал: — Понял, товарищ старшина.

Я усмехнулся.

— Проходите,— проворчал паренек.

Взвод новобранцев в новеньких ватниках расплескивал лужи — уже наступила весна. И вдруг — «Уж не померещилось ли?» — я увидел Паркина. Он растолстел еще больше, на его погонах были ефрейторские лычки.

— Паркин! — крикнул я.

Он остановился. Надулся и пророкотал, подражая Коркину:

— А-а... Сколько лет, сколько зим... Каким ветром тебя занесло сюда?

— В госпитале тут лежу.

— Та-ак... — Паркин замолчал.

— А ты как живешь? — спросил я.

— Служу! Заработал вот.— Паркин повел плечом.— Обещают еще одну дать. А то ефрейтор — ни рыба ни мясо, хотя для новичков и я — генерал.

— Помнится,— сказал я,— ты на фронт рвался? Даже в грудь колотил.

— Я хоть сейчас,— пробормотал Паркин,— но не отпускают... Кстати, слышал, Старухина убили?

— Не может быть?

— Точно. Мне про это сам Коркин сказал. Кумекаешь, что получилось? Стремился человек на фронт, а для чего? Служил бы потихоньку тут — живым бы остался.

Я почувствовал: кровь ударила в голову. Перед глазами пошли, расплываясь, круги.

— Коркин — тот никуда не рвется,— продолжал Паркин.— Тоська ему, как в ресторане, отдельные блюда готовят. Он не хуже генерала живет. А Старухин, прости меня, дураком был. Песни с нами пел, а с Коркиным не ладил. А у Коркина, между прочим, рука наверху есть.

— Сука ты, Паркин,— сказал я.

— Чего? — не понял он.

— Сука ты,— повторил я.

Паркин запыхтел, как паровоз, и крикнул фальцетом:

— Солдат! Как стоите перед ефрейтором?

— Иди ты... — сказал я.

Паркин покусал губы.

— Ладно! Погорячились и хватит. Мы же товарищи.

— Верблюду тебе товарищ! — Я повернулся и зашагал прочь.

Паркин что-то прокричал мне вслед, но что, я не разобрал.

Казанцева я застал в каптерке. Он сидел на корточках возле раскрытого чемодана. Поздоровавшись, старшина объявил:

— Сегодня ночью на фронт уезжаю. Хоть месяц повоюю — и то хлеб. Раньше меня не отпускали по причине болезни, а теперь добился.

— Поздравляю! — сказал я и позавидовал Казанцеву.

Я часто вспоминал Волчанского и других ребят, с которыми воевал, думал: «Как они там? Живы ли?» Хотелось на фронт, но начальник госпиталя в ответ на мою просьбу о досрочной выписке сказал:

— Без тебя, парень, обойдутся! Я уже распорядился — красненькое заготовить. Все по чарке получают, когда долгожданный день наступит...

— О себе расскажи, — попросил старшина.

— А что рассказывать-то? Всего посмотрелся и натерпелся. В госпитале по второму разу.

— Вот как! — Покопавшись в тумбочке, Казанцев извлек из нее помятый «треугольник». — Тебе. От Петрова. Правда, оно давно пришло.

Я сказал, что знаю об этом письме от Ярчука.

— Значит, встречал его? — удивился Казанцев.

— Даже воевали вместе.

— Живой он?

— Полгода назад живым был. Ранило его тогда, в руку

— Хороший парень! — сказал старшина.

— Хороший, — подтвердил я. — А дружок его — Фомин...

— Этот — мразь, — опередил меня Казанцев.

Мы разговаривали долго, как равный с равным. Вспомнили Старухина. Помолчали.

— Правильный был человек, — нарушил молчание Казанцев, и эти слова прозвучали, как высшая похвала...

Я приехал домой под вечер, отпраздновав День Победы в госпитале, расцеловался с матерью, наскоро рассказал ей

о последних днях пребывания в Горьком, поужинал и по-мчался к Зое.

Она встретила меня спокойно, даже слишком спокойно. Я хотел поцеловать ее, но она отстранилась. «Странно», — подумал я.

— Как доехал? — поинтересовалась Зоя.

— Нормально!

— А рана как?

— Сама убедись — только шрамик.

Мы помолчали. Я представлял себе встречу с Зоей совсем по-другому. Казалось: она обрадуется, бросится мне на шею.

— Ты не рада? — спросил я.

— Почему же? Рада.

— Так не радуются! — заявил я.

Зоя не возразила.

Я вспомнил вдруг внеочередные наряды, старшего лейтенанта, давшего мне ни за что ни про что десять суток строгой, Паркина, обжиравшегося колбасой, и вспомнил всех плохих людей, встреченных за эти почти два года. Но тут же вспомнил Петровича, Старухина, Божко и еще добрый десяток тех, кто оставил в моем сердце хорошие отметины, кто вложил в меня что-то; я чувствовал это, хотя и не мог объяснить, что именно дали мне эти люди. Услышал мысленно свист пуль, увидел кошку, крадущуюся по обгоревшему бревну, вывороченные с корнем деревья, снова пошел в атаку и снова ощутил страх, который ощущал тогда, снова испытал то, что было в действительности; за несколько секунд прожил эти почти два года и почувствовал: душа оттаивает, оттаивает потому, что все — и хорошее, и плохое — надо было прожить и пережить, чтобы стать настоящим солдатом. «И я стал им», — подумал я.

— О чем задумался? — спросила Зоя.

— Тебе этого не понять! — резко сказал я и почему-то решил, что сейчас у меня разболится голова и начнут дрожать пальцы.

Зоя вздохнула:

— Отвыкли мы друг от друга.

«Отвыкли?» — Я хотел возмутиться, но вспомнил последнюю встречу с Зоей — эта встреча ничего не оставила в сердце, вспомнил, что, думая о ней, я тут же переключал мысли на Зину, вспомнил переписку с Капой и решил, что Зоя, должно быть, права,

— Как же теперь? — Я попытался улыбнуться, но не смог.

— Никак.

— У тебя, наверное, есть кто-нибудь?

— Не надо об этом, — мягко сказала Зоя.

«Значит, есть», — решил я.

— Выходит, разойдемся, как в море корабли?

— Зачем же? Остаемся добрыми друзьями.

— Друзьями? — Я фыркнул. — Кому это нужно!

— Как хочешь. — Она снова вздохнула.

Я не ощущал ни сердечной боли, ни душевных мук — только досаду. Мое самолюбие было уязвлено, и это мешало мне понять Зою.

— Два года назад, — нарушила она молчание, — мы думали, что дружба и любовь одно и то же.

Зоя, видимо, уже узнала, что такое настоящая любовь, и я позавидовал ей. Я уважал Лешку, восхищался его «подвигами» на амурном фронте, но сам поступать так не хотел.

— Не обижайся на меня, Жора, — ласково сказала Зоя. — В жизни еще хуже бывает.

Что я мог возразить ей? Что?

— Заходи в гости, — пригласила Зоя. — Ведь недаром говорится: старый друг лучше новых двух.

И она ушла.

— Чего так скоро? — спросила мать, когда я вернулся. Я промолчал.

— Поссорились? — стала допытываться мать.

Я подошел к ней, поцеловал ее в щеку.

— Мамочка! Как хорошо, что война кончилась и что я домой вернулся.

— Значит, Зоя тебе рассказала?

— Что рассказала?

Мать замялась.

— Ну-у... что она с другим встречается.

— А ты знала об этом?

— Знала.

— Почему же не написала мне?

— Зоя просила не огорчать тебя.

Мне снова стало горько и обидно. Я по-своему был привязан к Зое, по-своему продолжал любить ее. Внутренне я понимал, что моя любовь — мираж, самообман, но

тяжело было остаться, как говорится, на' бобах, тяжело было сознавать, что теперь у меня нет девушки, что теперь даже в кино не с кем сходить. Захотелось потолковать с кем-нибудь по душам. Я мог бы выложить все матери, но подумал: «Она будет утешать, сочувствовать». А мне хотелось просто потолковать. Я вспомнил Кольку Петрова. Сейчас самое время навестить его.

— У тебя есть водка? — обратился я к матери.

— Есть.

— Можно взять ее?

— Зачем?

— К приятелю схожу — вместе служили, сто лет не виделись.

— Возьми. Только прежде ответь мне, сын, ты... — мать запнулась, — ...не пристрастился к вину?

— Не беспокойся! — воскликнул я. — Водка мне не нравится.

Я не солгал. Водка мне действительно не нравилась. Сто граммов «наркомовских» я выпивал, как касторку, за-жмурившись. Файзула и Волчанский смеялись надо мной, предлагали в обмен сахар. Но я не хотел отличиться от других, храбро выпивал свою порцию.

— Тогда зачем же тебе водка? — спросила мать.

— Встречу вспрыснуть надо, — объяснил я.

— Понятно. — Мать кивнула. — Поздно придешь?

— Наверное.

Мать снова кивнула.

— Это я просто так поинтересовалась. Я сейчас на де-журство ухожу.

— Опять на дежурство?

— Опять. Но сейчас я реже дежурю — врачи вернулись с фронта и легче стало.

31

Было тепло и душно. Воздух казался вязким, густым. На лавочке, скрестив на набалдашнике руки, сидел Коленка. Стало жалко дурачка, слабого, беззащитного. Я вернулся, отломил от буханки здоровенный кусок, молча протянул его Коленке.

— Что, что? — заволновался дурачок. Надкусил хлеб и спросил с набитым ртом: — Кто принес?

Я не ответил.

Крымский мост. Одноэтажный деревянный домик: по-

косившийся, ветхий — того гляди развалится. Обитая мешковиной дверь. Постучал.

Девочка лет двенадцати с такими же, как у Кольки, глазами-плошками открыла дверь. Она была бледна и очень худа, под глазами лежала несвойственная возрасту синь.

— Брат твой, Коля, дома? — спросил я.

Девочка молчала.

— Я товарищ твоего брата, — сказал я. — Вместе служили.

Девочка молчала. Ее глаза были не по-детски грустны.

— Скажи ему — Жора пришел. Саблин, мол.

Девочка всхлипнула и, по-бабьи закрыв лицо руками, разрыдалась.

Ничего не понимая, я вошел в комнату с тюлевой занавеской на маленьком окне, с квадратным столом посередине, с двуспальной кроватью, увенчанной четырьмя никелированными набалдашниками, горой подушек, накрытых пестрой тканью; около стены стоял продавленный диван с мутноватым зеркалом в высокой спинке.

Но все это — тюлевую занавеску, квадратный стол, двуспальную кровать, продавленный диван — я рассмотрел уже после, а первое, что бросилось мне в глаза, когда я вошел, непрошенный, в комнату — была большая фотография Кольки в рамке, обшитой черной материей, с прикрепленным к ней орденом Отечественной войны второй степени.

Колька был похож на родителей: на женщину с плоской грудью — она шила возле окна, подняла при моем появлении голову — и небритого мужчину, подкатившего ко мне на громыхавшей подшипниками тележке, к которой было прикреплено ремнями его туловище.

«Так вот почему Колькин отец не писал домой», — сообразил я и почувствовал — задрожали пальцы.

Ничего не спрашивая, инвалид оттолкнулся от пола деревяшками, подкатил к стулу, хлопнул по сиденью рукой:

— Садись, солдат!

Девочки смотрели на меня Колькиными глазами. Мать тоже смотрела на меня, и я видел, как тяжелеют ее веки и вздрагивают губы.

Я назвал себя.

— Знаю, — сказала Колькина мать. — Сын писал про вас.

— Давай познакомимся, солдат,— Колькин отец протянул мне руку,— тем более что ты, оказывается, друг-приятель ему. Саклин, значит?

— Саблин,— поправил я.

— Извиняй, солдат,— сконфузился инвалид.— Слабоват я по части фамилий, все время путаю. А зовут меня, солдат, как и сына, Николаем, по батюшке Васильевичем буду. А она,— Николай Васильевич кивнул на жену.— Марья Васильевна. Мы с ней почти что тезки. Дочки сами представятся — не маленькие.

— Нина,— сказала старшая, светловолосая девочка с едва наметившейся грудью.

— Аня,— шмыгнула носом та, что открыла мне дверь.

— Маруся,— протянула худенькую, золотушную руку младшая и вздохнула не по-детски.

— Вот и познакомились,— сказал Николай Васильевич.

Я поставил на стол бутылку.

— Доброе дело! — оживился инвалид и стал расстегивать ремни, прикрепляющие его к тележке.— Помянем нашего сынка честь по чести, как по русскому обычаю положено.

— Может, не надо, Коль? — полувопросительно произнесла Мария Васильевна.— Тебе же вредно.

— Ничего, мать, немножко можно! — Отделившись от тележки, Николай Васильевич ловко взобрался на стул.— Сообрази-ка нам закусить.

Мария Васильевна замаялась, посмотрела на мужа. Тот понял ее взгляд, повернулся ко мне:

— Извиняй, солдат, если закуска будет не та. Сам видишь, небогато живем: вон их, ртов-то сколько! Каждой обувку, каждой платьице надо да разные ленточки-бантики. Раньше я домой тыщу чистыми приносил, а теперь — пенсия. Правда, райсобес подбрасывает кое-что: то ордерок на отрез, то пособие, но все равно — маловато. Старшая вон школу бросать хочет, на работу устраивается. Может, оно и правильно — все ж копейка в дом. А младшеньких мы вытянем. Верно, мать?

— Верно, верно,— закивала Мария Васильевна. И добавила виновато: — Вот только не придумаю, что на стол подавать. Лук у меня есть и хлеба немножко.

— А соль? — воскликнул Николай Васильевич.— Лук с солью — закуска наипервейшая. Тащи, мать, то, что есть. Не в обиде будешь, солдат?

— Не беспокойтесь понапрасну,— сказал я, пожалев, что не захватил часть пайка, выданного мне в госпитале.

Мария Васильевна позвала старшую дочь и вышла с ней.

— Вот так и живем, солдат,— вздохнул Николай Васильевич. Дотронувшись пальцем до бутылки, добавил: — Он ее и в рот не брал. Когда на фронт уходил, ему шестнадцать было. Помню, раздобыл четвертку, ему налил. А он: «Спасибо, батя, не хочу!» Сказал, что до самой смерти пить ее не будет. Жене понравилось это. Да и мне, признаться, по нутру пришлось. Я до войны не очень-то баловался этим. А сейчас тянет. С горя, видать: сам калека и сына единственного потерял. Ведь я почему с госпиталя не возвращался? Обуза, думал, лишний рот. Почти год не писал, а потом не выдержал. От сына письмо получил.— Николай Васильевич поскреб щеку, усмехнулся.— Расчихвостил меня Колька — не приведи бог. Вскороости после этого он и погиб. Вернулся домой — аккуратно через месяц похоронка. Орденом его посмертно наградили. В военкомате сказали, что он сам запросился с разведчиками в тыл к немцам. Собрали они сведения и тут осечка — засекли. До последнего патрона отбивались. А разведданные Колька по радию передал.

— Он хорошим радистом был,— вспомнил я.— Сто тридцать знаков в минуту принимал. И передавал столько же.

— Я не мастак в этом деле,— признался Николай Васильевич.

— Сто тридцать знаков в минуту — это очень много,— объяснил я.

Инвалид помолчал.

— Заика вручил орден, офицер.

— Шубин?

— Может, и Шубин — жена получала орден.

«Шубин,— решил я.— Ведь мы с Колькой из одного военкомата».

Мария Васильевна внесла очищенные луковицы, крупную соль в деревянной солонке, несколько ломтиков хлеба.

— Как фамилия офицера, который вам Колин орден вручал? — спросил я.

— Он не назвал себя,— ответила Мария Васильевна.

— А какой он из себя?

Хозяйка смущенно улыбнулась.

— Мне в тот день не до него было. Вроде бы среднего роста, с протезом — это я точно помню.

— Шубин! — уверенно сказал я. — Мы с ним большие друзья. Завтра обязательно навещу его.

— Не застанете, — возразила Мария Васильевна. — Говорил он, когда орден вручал, что последнюю неделю служит. На отдых его отправили — здоровье лечить.

— Да-а... — Николай Васильевич вздохнул. — Давай, солдат, помянем Колю, дружка твоего и сына нашего.

Мы выпили. Мария Васильевна пить не стала — только пригубила рюмку.

Инвалид хмелел. Его глаза затуманились, лицо покраснело. Он стал ругать какого-то Лапушкова.

— Из-за него, паразита, я ног лишился!

— Полно, отец, — сказала Мария Васильевна. — Может, не виноват он.

— Виноват! — Николай Васильевич трахнул кулаком по столу. — Я ему, обормоту, говорю: откатим оружие в кусточки — маскировка все ж, а он уперся, как баран. Тут нас и накрыло.

— Живой он остался? — спросил я.

— Кто?

— Лапушков этот.

— Наверяд ли. — Николай Васильевич уронил голову на стол.

«Пора!» — подумал я. Попрощался с девочками — с каждой за руку. Оставил Марии Васильевне домашний адрес — на всякий случай.

— Заходите, — пригласила она.

— Обязательно! — Мне хотелось помочь этим людям, хотелось сделать для них все, что было в моих силах.

Петровы жили неподалеку от Зины. Я увидел ее дом и решил зайти к ней: эта девушка по-прежнему волновала меня.

У Зины гуляли. Посреди стола, на самом почетном месте, стояло блюдо с селедочной головой. Кружочки крупно нарезанного лука плавали в уксусе, в котором виднелись золотистые вкрапинки растительного масла. Кроме селедочной головы, картофеля, сваренного в мундире, наполовину опорожненной бапки свиной тушенки, другой закуски на столе не было. Чуть в стороне от стола, на тумбочке, возвышались тарелки с обiedками. Пузатые фляжки, бутылки с этикетками и без них распространяли

винный запах. В комнате было накурено. Свет от оранжевого абажура с трудом пробивал мутный воздух. За столом сидели Зина с подругой и Фомин — возмужавший, располневший. В его глазах светилась бесшабашная удаль, которая появляется тогда, когда море кажется по колено, когда слова сами собой слетают с языка, когда все хорошо и хочется, чтобы было еще лучше.

— А-а... — сказал Фомин, приподнимаясь мне навстречу.— Легко на помине! Мы тебя только что вспоминали. Она вспоминала,— уточнил Фомин, посмотрев на Зину.— Демобилизовался или в отпуск?

— Демобилизовался.

— А я вот гуляю,— сообщил Фомин.— На десять суток отпуск дали. А потом по новой трубить. Но — не хочется. Справку бы достать про болезнь, чтоб по чистой, значит.

Зина курила, поднося резким движением папироску к ярко накрашенному рту. Она была рада мне — я чувствовал это.

— А Ярчук где? — спросил я.

— Живой,— ответил Фомин.— Да мы с ним не встречаемся.

— А Петров погиб,— сказал я.— Помнишь его?

— Петров? — переспросил Фомин.— Какой он из себя?

— Маленький такой. С большими глазами.

— А-а... — Фомин помрачнел.— Это тот самый, с которым вы тогда,— он выделил слово «тогда»,— на меня наскочили?

— Он самый.

— Помню его.— Фомин кивнул.— А Ярчука мне жаль: в последнее время он скурвился. Письма присылал мне идейные, прошлого совестился, намекал: кончать-де надо с веселой жизнью. Я и на фронте не терялся. Приволок оттуда добра разного вагон и маленькую тележку. Зинка подтвердит, если не веришь. Часы ей привез золотые. Покажь, Зинка, какие я тебе часики отвалил.

— Не мели языком! — Встретившись с моим взглядом, Зина убрала руку под стол.

— Боишься — отберу? — Фомин захохотал.— Не бойся, не отберу. У меня таких пятнадцать штук. И еще кое-что есть. Машинных иголок — не счесть привез. Справлялся на рынке: штука — червонец. На год обеспечен!

— А дальше что? — спросил я.

— Там видно будет,— ответил Фомин.— Умный человек всегда найдет, как прожить.

— Кстати, ты в каких частях воевал?

— Секрет.— Фомин ухмыльнулся.

— Секрет?

— Секрет.— Он продолжал ухмыляться.

— Скажи-ка, чем пахнет немецкий тол? — Я спросил первое, что пришло в голову.

Фомин растерялся. Потом процедил, виляя глазами:

— Ты что, экзамен мне устраиваешь?

— Хотя бы.— Я старался поймать его взгляд.

— Не принимивался! — отрезал Фомин.

Зина и ее подруга не сводили с него глаз.

— Тоже мне вояка,— скривил губы Фомин.— Побыл на фронте без году неделя и воображает.

— Не воображаю — горжусь,— уточнил я.— А немецкий тол чесноком пахнет — запомни это.

Фомин достал носовой платок, вытер лицо.

— Не один ты воевал — мне тоже пришлось хлебнуть.

— В трофейной команде,— выдала Фомина Зинина подруга — та девушка, которая в ноябре 1943 года провожала Ярчука. Сейчас она была не в тельняшке — в обыкновенном платье и, кажется, без пудры.

— Ну и что с того! — взорвался Фомин.— Там тоже опасно было. Двое наших на mine подорвались.

Я расхохотался.

— Теперь понятно, откуда у тебя часики и все прочее.

— Ловкость рук и никакого мошенства! — с вызовом произнес Фомин.

— Вижу.— Я постарался вложить в это слово презрение к нему.

Фомин сделал вид, что не понял, развалился на стуле, вынул портсигар, закурил.

— Тоже трофейный? — поинтересовался я.

— Ага,— с издевкой откликнулся он.— Из чистого серебра. Двести шестьдесят граммов в нем — сам взвешивал.

Повернувшись к Фомину, Зина сказала:

— Хвастливым ты стал.

— Не дрожи! — Фомин посмотрел на меня.— Он ничего не докажет. Трофеи — это трофеи. А с карманными кражами покончено! Отслужу — агентом по снабжению устроюсь. Или еще куда-нибудь, где не пыльно. Будем жить мы с тобой, Зинка, как король с королевой!

Я вспомнил письмо, которое скомкал Фомин. Меня так и подмывало рассказать об этом Зине. Фомин, видимо, до-

гадался, что у меня на уме, сделал мне предостерегающий знак.

В комнату вползла бочком, неся дымящееся блюдо, Зинина мать все в той же кофте с протертыми рукавами. С опаской покосилась на Фомипа. У меня разболелась голова и стали дрожать пальцы. Я наклонился к Зине и тихо сказал:

— Выйдем.

— Зачем? — шепотом спросила она.

— Поговорить надо.

— Нельзя. — Зина показала взглядом на Фомина.

— Не бойся его.

Фомин подался телом вперед:

— О чем вы шушукаетесь?

— Не твое дело! — отрезал я.

— Ха! — Фомип насмешливо посмотрел на меня. — Зинка нравится тебе, а ты ей. Когда я приехал, первым делом про тебя спросила. Только шип тебе с маслом! Такая краля тебе не по зубам. Она тряпки любит, а ты — голову об заклад! — даже паршивой зажигалки с войны не привез.

— Выйдем! — Я потянул Зину за рукав.

Она оглянулась на Фомина.

— Не ходи! — потребовал он.

— Ревнуешь? — Зина загасила папироску, прижав ее к тарелке с остатками еды.

Фомин зло посмотрел на меня.

— Я на пять минут, — сказала Зина.

Мы вышли в коридор — узкий, полутемный, пахнувший нафталином.

— Не связывайся с ним. — Зина положила мне на плечи руки. — Он уедет скоро и тогда... Ты приходи тогда! А вернется он — придумаем что-нибудь. Ты нравишься мне. Ты совсем не такой, как он. Я еще в тот раз, на вокзале, поняла это. Я мать ругала, когда узнала, что она спровадила тебя. Хотела разыскать, да разве найдешь в Москве человека только по имени и приметам. А фамилию твою я забыла. Приходи! Я еще никого не просила так.

— Зачем' приходить?

— Просто так. Посидим, в карты поиграем. Выпьем, если захочется. Он, — Зина кивнула на дверь, — много вина привез.

— А потом что?

— Ты что — глупый или прикидываешься?

— Глупый.

Если бы Зина решила стать моей женой, я, наверное, не колебался бы. Так и заявил ей.

Она рассмеялась:

— Чудачок! Одними ласками и поцелуями не проживешь.

Мне стало горько, больно, стыдно. Я не хотел верить этому и пробормотал:

— Деяги — чепуха.

— Нет, милый. — Зина жарко дышала мне в лицо; я ощущал запах ее тела, видел в полутьме жемчужный блеск зубов. Хотелось обнять девушку, прильнуть щекой к ее волосам, мягким и пушистым, провести рукой по бедру, упруго натягивающему нарядное платье, но я не сделал этого, потому что не хотел ворованного счастья.

— Придешь? — спросила Зина.

— Нет, — глухо ответил я и открыл дверь.

— Подожди! — крикнула она.

Я не остановился. Ныла голова и мелко-мелко дрожали пальцы.

В конце улицы, застроенной невысокими домами, — там, где она выходила к Москве-реке, — желтело небо, обласканное первыми, еще невидимыми лучами солнца. Несмело почирикивали воробьи. Взъерошенные после сна, чистили перышки, ссорились, и тогда воздух оглашался на несколько секунд их пронзительными криками. Заспанный дворник поливал мостовую, направляя тугую и белую, как кипяток, струю на потрескавшийся, осевший асфальт. Углубления тотчас заполнялись водой, она стекала в покрытые ржавыми решетками водостоки. Шланг был побитый. Из-под латок, обкрученных для прочности мягкой проволокой, вяло сочилась вода, а из-под самой большой бил фонтанчик, образуя все увеличивающуюся лужицу. Я ощутил на лице изморось, какую оставляет моросящий дождь. Это взбодрило меня. Желтизна на небе становилась все гуще — вот-вот должно было выглянуть солнце. Наступал день, день новых надежд, тревог, разочарований, неудовлетворенности собой — всего того, что было жизнью...

Д60 Додолев Ю. А.
Мои погоны. Повесть. М., «Сов. Россия», 1974.
176 с.

«Мои погоны» — вторая книга Ю. Додолева, дебютировавшего два года назад повестью «Что было, то было», получившей положительный отклик критики. Новая книга Ю. Додолева, как и первая, рассказывает о нравственных приобретениях молодого солдата. Только на этот раз события происходят не в первый послевоенный год, а во время войны. Познавая время и себя, встречая разных людей, герой повести мужает, обретает свой характер.

Д $\frac{70302-196}{M-105(03)74}$ 122—123—74

P2

Юрий Алексеевич Додолев

МОИ ПОГОНЫ

Редактор **Т. М. Мугуев**
Художник **А. Н. Хисиминдинов**
Художественный редактор **Г. И. Сауков**
Технический редактор **Л. М. Беседина**
Корректор **Л. В. Конкина**

Сд. в набор 8/1-74 г. Подп. к печ. 3/Х-74 г.
Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 5,5.
Усл. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,67. Изд.
инд. ЛХ-712. А09300. Тираж 50 000 экз.
Цена 30 коп. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия»,
Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграф-
прома Государственного комитета Совета
Министров РСФСР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли,
г. Электросталь Московской области,
ул. им. Тевосяна, 25. Заказ № 2121.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия».

Дорогие читатели!

Издательство «Советская Россия» предлагает вашему вниманию художественно-публицистическую библиотеку «Писатель и время».

Известные советские писатели в произведениях документальной прозы рассказывают о ведущей роли рабочего класса, вопросах научно-технического прогресса, о трудовых коллективах крупнейших заводов и строек, о жизни села, насущных социально-нравственных проблемах современности.

Библиотека рассчитана на широкий круг читателей города и деревни, интересующихся проблемами современной жизни, на молодежь, стоящую перед выбором жизненного пути.

30 ноп.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ